

Лоренс Стерн Сентиментальное путешествие по Франции и Италии

– Во Франции, – сказал я, – это устроено лучше.

– А вы бывали во Франции? – спросил мой собеседник, быстро повернувшись ко мне с самым учтивым победоносным видом.

– «Странно, – сказал я себе, размышая на эту тему, – что двадцать одна миля пути на корабле, – ведь от Дувра до Кале никак не дальше, – способна дать человеку такие права. – Надо будет самому удостовериться». – Вот почему, прекратив спор, я отправился прямо домой, уложил полдюжины рубашек и пару черных шелковых штанов.

– Кафтан, – сказал я, взглянув на рукав, – и этот сойдет, – взял место в дуврской почтовой карете, и, так как пакетбот отошел на следующий день в девять утра, в три часа я уже сидел за обеденным столом перед фрикасе из цыпленка, столь неоспоримо во Франции, что, умри я в эту ночь от расстройства желудка, весь мир не мог бы приостановить действие Droits d'aubaine;¹ мои рубашки и черные шелковые штаны, чемодан и все прочее – достались бы французскому королю, – даже миниатюрный портрет, который я так давно ношу и хотел бы, как я часто говорил тебе, Элиза, унести с собой в могилу, даже его сорвали бы с моей шеи.

– Сутяга! Завладеть останками опрометчивого путешественника, которого заманили к себе на берег ваши подданные, – ей-богу, ваше величество, нехорошо так поступать! В особенности неприятно мне было бы тягаться с государем столь просвещенного и учивого народа, столь прославленного своей рассудительностью и тонкими чувствами.

Но едва я вступил в ваши владения –

КАЛЕ

Пообедав и выпив за здоровье французского короля, чтобы убедить себя, что я не питаю к нему никакой неприязни, а, напротив, высоко чту его за человеколюбие, – я почувствовал себя выросшим на целый дюйм благодаря этому примирению.

– Нет, – сказал я, – Бурбоны совсем не жестоки; они могут заблуждаться, подобно другим людям, но в их крови есть нечто кроткое. – Признав это, я почувствовал на щеках более нежный румянец – более горячий и располагающий к дружбе, чем тот, что могло вызвать бургундское (по крайней мере, то, которое я выпил, заплатив два ливра за бутылку).

– Праведный боже, – сказал я, отшвырнув ногой свой чемодан, – что же таится в мирских благах, если они так озлобляют наши души и постоянно ссорят насмерть столько добросердечных братьев-людей?

Когда человек живет со всеми в мире, насколько тогда тяжелейший из металлов легче перышка в его руке! Он достает кошелек и, держа его беспечно и небрежно, озирается кругом, точно отыскивая, с кем бы им поделиться. – Поступая так, я чувствовал, что в теле моем расширяется каждый сосуд – все артерии бьются в радостном согласии, а жизнедеятельная сила выполняет свою работу с таким малым трением, что это смущило бы самую сведущую в физике précieuse² во Франции: при всем своем материализме она едва ли назвала бы меня машиной –

– Я уверен, – сказал я себе, – что опроверг бы ее убеждения.

Появление этой мысли тотчас же вознесло естество мое на предельную для него высоту – если я только что примирился с внешним миром, то теперь пришел к согласию с самим собой –

¹ В силу этого закона, конфискуются все вещи умерших во Франции иностранцев (за исключением швейцарцев и шотландцев), даже если при этом присутствовал наследник. Так как доход от этих случайных поступлений отдан на откуп, то изъятий ни для кого не делается. – Л. Стерн.

² Жеманница (франц.).

– Будь я французским королем, – воскликнул я, – какая подходящая минута для сироты попросить у меня чемодан своего отца!

МОНАХ КАЛЕ

Едва произнес я эти слова, как ко мне в комнату вошел бедный монах ордена святого Франциска с просьбой пожертвовать на его монастырь. Никому из нас не хочется обращать свои добродетели в игрушку случая – щедры ли мы, как другие бывают могущественны, – sed non quo ad hanc³ – или как бы там ни было, – ведь нет точно установленных правил приливов или отливов в нашем расположении духа; почем я знаю, может быть, они зависят от тех же причин, что влияют на морские приливы и отливы, – для нас часто не было бы ничего зазорного, если бы дело обстояло таким образом; по крайней мере, что касается меня самого, то во многих случаях мне было бы гораздо приятнее, если бы обо мне говорили, будто «я действовал под влиянием луны, в чем нет ни греха, ни срама», чем если бы поступки мои считались исключительно моим собственным делом, когда в них заключено столько и срама и греха.

– Но как бы там ни было, взглянув на монаха, я твердо решил не давать ему ни одного су; поэтому я опустил кошелек в карман – застегнул карман – приосанился и с важным видом подошел к монаху; боюсь, было что-то отталкивающее в моем взгляде: до сих пор образ этого человека стоит у меня перед глазами, в нем, я думаю, было нечто, заслуживавшее лучшего обращения.

Судя по остаткам его тонзуры, – от нее уцелело лишь несколько редких седых волос на висках, – монаху было лет семьдесят, – но по глазам, по горевшему в них огню, который приглушался, скорее, учтивостью, чем годами, ему нельзя было дать больше шестидесяти. – Истина, надо думать, лежала посередине. – Ему, вероятно, было шестьдесят пять; с этим согласовался и общий вид его лица, хотя, по-видимому, что-то положило на него преждевременные морщины.

Передо мной была одна из тех голов, какие часто можно увидеть на картинах Гвидо, – нежная, бледная – проникновенная, чуждая плоских мыслей откормленного самодовольного невежества, которое смотрит сверху вниз на землю, – она смотрела вперед, но так, точно взор ее был устремлен на нечто потустороннее. Каким образом досталась она монаху его ордена, ведает только небо, уронившее ее на монашеские плечи; но она подошла бы какому-нибудь брамину, и, попадись она мне на равнинах Индостана, я бы почтительно ей поклонился.

Прочее в его облике можно передать несколькими штрихами, и работа эта была бы под силу любому рисовальщику, потому что все сколько-нибудь изящное или грубое обязано было здесь исключительно характеру и выражению: то была худощавая, тщедушная фигура, ростом немного выше среднего, если только особенность эта не скрадывалась легким наклонением вперед – но то была поза просителя; как она стоит теперь в моем воображении, фигура монаха больше выигрывала от этого, чем теряла.

Сделав три шага, вошедший ко мне монах остановился и, положив левую руку на грудь (в правой был у него тоненький белый посох, с которым он путешествовал), – представился, когда я к нему подошел, вкратце рассказав о нуждах своего монастыря и о бедности ордена, – причем сделал он это с такой безыскусственной грацией, – и столько приниженности было в его взоре и во всем его облике – видно, я был зачарован, если все это на меня не подействовало –

Правильнее сказать, я заранее твердо решил не давать ему ни одного су.

МОНАХ КАЛЕ

³ Но не в применении к данному случаю (лат.).

Совершенно верно, – сказал я в ответ на брошенный кверху взгляд, которым он закончил свою речь, – совершенно верно – и да поможет небо тем, у кого нет иной помощи, кроме мирского милосердия, запас которого, боюсь, слишком скучен, чтобы удовлетворить все те многочисленные *громадные требования*, которые ему ежечасно предъявляются.

Когда я произнес слова *громадные требования*, монах бросил беглый взгляд на рукав своего подрясника – я почувствовал всю силу этой апелляции. – Согласен, – сказал я, – грубая одежда, да и та одна на три года, вместе с постной пищей не бог весть что; и поистине достойно сожаления, что эти вещи, которые легко заработать в миру небольшим трудом, орден ваш хочет урвать из средств, являющихся собственностью хромых, слепых, престарелых и немощных – узник, простертый на земле и считающий снова и снова дни своих бедствий, тоже мечтает получить оттуда свою долю; все-таки, если бы вы принадлежали к *ордену братьев милосердия*, а не к ордену святого Франциска, то при всей моей бедности, – продолжал я, показывая на свой чемодан, – я с радостью, открыл бы его перед вами для выкупа какого-нибудь несчастного. – Монах поклонился мне. – Но из всех несчастных, – заключил я, – прежде всего имеют право на помочь, конечно, несчастные нашей собственной страны, а я оставил в беде тысячи людей на родном берегу. – Монах участливо кивнул головой, как бы говоря: без сомнения, горя довольно в каждом уголке земли так же, как и в нашем монастыре. – Но мы различаем, – сказал я, кладя ему руку на рукав в ответ на его немое оправдание, – мы различаем, добрый мой отец, тех, кто хочет есть только хлеб, заработанный своим трудом, от тех, кто ест хлеб других людей, не имея в жизни иных целей, как только просуществовать в лености и невежестве ради Христа.

Бедный францисканец ничего не ответил; щеки его на мгновение покрыл лихорадочный румянец, но удержаться на них не мог. – Природа в нем, видно, утратила способность к негодованию; он его не выказал, – но, выронив свой посох, безропотно прижал к груди обе руки и удалился.

МОНАХ КАЛЕ

Сердце мое упало, как только монах затворил за собою дверь. – Вздор! – с беззаботным видом проговорил я три раза подряд, – но это не подействовало: каждый произнесенный мною нелюбезный слог настойчиво возвращался в мое сознание. – Я понял, что имею право разве только отказать бедному францисканцу и что для обманувшегося в своих расчетах человека такого наказания достаточно и без добавления нелюбезных речей. – Я представил себе его седые волосы – его почтительная фигура как будто вновь вошла в мою комнату и кротко спросила: чем он меня оскорбил? – и почему я так обошелся с ним? – Я дал бы двадцать ливров адвокату. – Я вел себя очень дурно, – сказал я про себя, – но я ведь только начал свое путешествие и по дороге успею научиться лучшему обхождению

ДЕЗОБЛИЖАН КАЛЕ

Когда человек недоволен собой, в этом есть, по крайней мере, та выгода, что его душевное состояние отлично подходит для заключения торговой сделки. А так как во Франции и в Италии нельзя путешествовать без коляски – и так как природа обыкновенно направляет нас как раз к той вещи, к которой мы больше всего приспособлены, то я вышел на каретный двор купить или нанять что-нибудь подходящее для моей цели. Мне с первого же взгляда пришелся по вкусу один старый дезоближан⁴ в дальнем углу двора, так что я сразу же сел в него и, найдя его достаточно гармонирующими с моими чувствами, велел слуге позвать мосье Дессена,

⁴ Коляска, называемая так во Франции потому, что в ней может поместиться только один человек. – Л. Стерн.

хозяина гостиницы; – но мосье Дессен ушел к вечерне, и так как мне вовсе не хотелось встречаться с францисканцем, которого я увидал на противоположном конце двора разговаривающим с только что приехавшей в гостиницу дамой, – я задернул разделявшую нас тафтянью занавеску и, задумав описать мое путешествии, достал перо и чернила и написал к нему предисловие в дезоближане.

ПРЕДИСЛОВИЕ В ДЕЗОБЛИЖАНЕ

Вероятно, не одним философом-перипатетиком замечено было, что природа верховной своей властью ставит нашему недовольству известные границы и преграды; она этого достигает самым тихим и спокойным образом, исключив для нас почти всякую возможность наслаждаться нашими радостями и переносить наши страдания на чужбине. Только дома помещает она нас в благоприятную обстановку, где нам есть с кем делить наше счастье и на кого перекладывать часть того бремени, которое везде и во все времена было слишком тяжелым для одной пары плеч. Правда, мы наделены несовершенной способностью простирать иногда наше счастье за поставленные ею границы; но вследствие незнания языков, недостатка связей и знакомств, а также благодаря различному воспитанию и различию обычаяв и привычек, мы обыкновенно встречаем столько помех, желая поделиться нашими чувствами за пределами нашего круга, что часто желание наше оказывается вовсе неосуществимым.

Отсюда неизбежно следует, что баланс обмена чувствами всегда будет не в пользу попавшего на чужбину искателя приключений: ему приходится покупать то, в чем он мало нуждается, по цене, которую с него запрашивают, – разговор его редко принимается в обмен на тамошний без большой скидки – обстоятельство, кстати сказать, вечно побуждающее его обращаться к услугам более дешевых маклеров, чтобы завязать разговор, который он может вести, так что не требуется большой проницательности, чтобы догадаться, каково его общество

—
Это приводит меня к существу моей темы, и здесь естественно будет (если только качанье дезоближана позволит мне продолжать) вникнуть как в действующие, так и в конечные причины путешествий.

Если праздные люди почему-либо покидают свою родину и отправляются за границу, то это объясняется одной из следующих общих причин:

Немощами тела,
Слабостью ума или
Непреложной необходимостью.

Первые два подразделения охватывают всех путешественников по суше и по морю, снедаемых гордостью, тщеславием или сплином, с дальнейшими подразделениями и сочетаниями *in infinitum*⁵.

Третье подразделение заключает целую армию скитальцев-мучеников; в первую очередь тех путешественников, которые отправляются в дорогу с церковным напутствием или в качестве преступников, путешествующих под руководством надзирателей, рекомендованных судьей, – или в качестве молодых джентльменов, сосланных жестокостью родителей или опекунов и путешествующих под руководством надзирателей, рекомендованных Оксфордом, Эбердином и Глазго.

Существует еще четвертый разряд, но столь малочисленный, что не заслуживал бы обособления, если бы в задуманном мной труде не надо было соблюдать величайшую точность и тщательность во избежание путаницы. Люди, о которых я говорю, это те, что переплывают моря и по разным соображениям и под различными предлогами остаются в чужих землях с целью сбережения денег; но так как они могли бы также уберечь себя и других от множества

⁵ До бесконечности (лат.).

ненужных хлопот, сберегая свои деньги дома, и так как мотивы их путешествия наименее сложны по сравнению с мотивами других видов эмигрантов, то я буду отличать этих господ, называя их

– Простодушными путешественниками.

Таким образом, весь круг путешественников можно свести к следующим главам :

Праздные путешественники,

Пытливые путешественники,

Лгущие путешественники,

Гордые путешественники,

Тщеславные путешественники,

Желчные путешественники. Затем следуют:

Путешественники поневоле,

Путешественник правонарушитель и преступник,

Несчастный и невинный путешественник,

Простодушный путешественник

и на последнем месте (с вашего позволения) Чувствительный путешественник (под ним я разумею самого себя), предпринявший путешествие (за описанием которого я теперь сижу) *поневоле* и вследствие *besoin de voyager*⁶, как и любой экземпляр этого подразделения.

При всем том, поскольку и путешествия и наблюдения мои будут совсем иного типа, чем у всех моих предшественников, я прекрасно знаю, что мог бы настаивать на отдельном уголке для меня одного, но я вторгся бы во владения *тищеславного* путешественника, если бы пожелал привлечь к себе внимание, не имея для того лучших оснований, чем простая *новизна моей повозки*.

Если читатель мой путешествовал, то, прилежно поразмыслив над сказанным, он и сам может определить свое место и положение в приведенном списке – это будет для него шагом к самопознанию: ведь по всей вероятности, он и посейчас сохраняет некоторый привкус и подобие того, чем он напитался на чужбине и оттуда вывез.

Человек, впервые пересадивший бургундскую лозу на мыс Доброй Надежды (заметьте, что он был голландец), никогда не помышлял, что он будет пить на Капской земле такое же вино, какое эта самая лоза производила на горах Франции, – он был слишком флегматичен для этого; но он, несомненно, рассчитывал пить некую винную жидкость; а хорошую ли, плохую или посредственную, – он был достаточно опытен, чтобы понимать, что это от него не зависит, но успех его решен будет тем, что обычно зовется *случаем*; все-таки он надеялся на лучшее, и в этих надеждах, чрезмерно положившись на силу своих мозгов и глубину своего суждения, Mynheer⁷, по всей вероятности, своротил в своем новом винограднике то и другое и, явив свое убожество, стал посмешищем для своих близких.

Это самое случается с бедным путешественником, пускающимся под парусами и на почтовых в наиболее цивилизованные королевства земного шара в погоне за знаниями и опытностью.

Знания и опытность можно, конечно, приобрести, пустившись за ними под парусами и на почтовых, но полезные ли знания и действительную ли опытность, все это дело случая, – и даже когда искатель приключений удачлив, приобретенный им капитал следует употреблять осмотрительно и с толком, если он хочет извлечь из него какую-нибудь пользу. – Но так как шансы на приобретение такого капитала и его полезное применение чрезвычайно ничтожны, то, я полагаю, мы поступим мудро, убедив себя, что можно прожить спокойно без чужеземных знаний и опыта, особенно если мы живем в стране, где нет ни малейшего недостатка ни в том, ни в другом. – В самом деле, очень и очень часто с сердечным сокрушением наблюдал я,

⁶ Потребности путешествовать (франц.).

⁷ Господин (голл.).

сколько грязных дорог приходится истоптать пытливому путешественнику, чтобы полюбоваться зреющими и посмотреть на открытия, которые все можно было бы увидеть, как говорил Санчо Панса Дон Кихоту, у себя дома, не замочив сапог. Мы живем в столь просвещенном веке, что едва ли в Европе найдется страна или уголок, лучи которых не перекрецивались и не смешивались бы друг с другом. – Знание, в большинстве своих отраслей и в большинстве жизненных положений, подобно музыке на итальянских улицах, которую можно слушать, не платя за это ни гроша. – Между тем нет страны под небом – и свидетель бог (перед судом которого я должен буду однажды предстать и держать ответ за эту книгу), что я говорю это без хвастовства, – нет страны под небом, которая изобиловала бы более разнообразной ученостью, – где заботливее ухаживали бы за науками и где лучше было бы обеспечено овладение ими, чем наша Англия, – где так поощряется и вскоре достигнет высокого развития искусство, – где так мало можно положиться на природу (взятую в целом) – и где, в довершение всего, больше остроумия и разнообразия характеров, способных дать пищу уму. – Так куда же вы направляетесь, дорогие соотечественники? –

– Мы хотим только осмотреть эту коляску, – отвечали они. – Ваш покорнейший слуга, – сказал я, выскакивая из дезоблизана и снимая шляпу. – "Мы недоумевали, – сказал один из них, в котором я признал *пытливого путешественника*, – что может быть причиной ее движения. – Возбуждение, – отвечал я холодно, – вызванное писанием предисловия. – Никогда не слышал, – сказал другой, очевидно *простодушный путешественник*, – чтобы предисловие писали в *дезоблизане*. – Оно вышло бы лучше, – отвечал я, – в *визави*.

– Но так как англичанин путешествует не для того, чтобы видеть англичан, я отправился в свою комнату.

КАЛЕ

Я заметил, что, кроме меня, еще что-то затемняет коридор, по которому я шел; действительно, то был мосье Дессен, хозяин гостиницы, только что вернувшийся от вечерни и чрезвычайно учтиво следовавший за мной, со шляпой под мышкой, чтобы напомнить мне о необходимых покупках. Я дописался в *дезоблизане* до того, что он мне порядком опротивел; когда же мосье Дессен заговорил о нем, пожав плечами, как о предмете совершенно для меня неподходящем, то у меня тотчас мелькнула мысль, что он, видно, принадлежит какому-нибудь невинному *путешественнику*, который по возвращении домой оставил его на попечение мосье Дессена, чтобы тот повыгоднее его сбыл. Четыре месяца прошло с тех пор, как он кончил свои скитанья по Европе в углу каретного двора мосье Дессена; с самого начала он выехал оттуда, лишь наспех поправленный, и хотя дважды разваливался на Мон-Сени, мало выиграл от своих приключений, – а всего меньше от многомесячного стояния без призора в углу каретного двора мосье Дессена. Действительно, нельзя было много сказать в его пользу – но кое-что все-таки можно было; когда же довольно нескольких слов, чтобы выручить несчастного из беды, я ненавижу человека, который на них поскупится.

– Будь я хозяином этой гостиницы, – сказал я, прикоснувшись концом указательного пальца к груди мосье Дессена, – я непременно поставил бы себе делом чести избавиться от этого несчастного *дезоблизана* – он стоит перед вами колыхающимся, упреком каждый раз, когда вы проходите мимо –

– Mon Dieu! ⁸ – отвечал мосье Дессен, – для меня это не представляет никакого интереса. – Кроме интереса, – сказал я, – который люди известного душевного склада, мосье Дессен, проявляют к собственным чувствам. Я убежден, что если вы принимаете невзгоды других так же близко к сердцу, как собственные, каждая дождливая ночь, – скрывайте, как вам угодно, – должна действовать угнетающее на ваше расположение духа. – Вы страдаете, мосье Дессен, не меньше, чем эта машина –

⁸ Боже мой! (франц.).

Я постоянно замечал, что когда в комплименте *кислоты* столько же, сколько *сладости*, то англичанин всегда затрудняется, принять его или пропустить мимо ушей; француз же – никогда; мосье Дессен поклонился мне.

– C'est bien vrai⁹, – сказал он. – Но в таком случае я только променял бы одно беспокойство на другое, и притом с убытком. Представьте, себе, милостивый государь, что я дал бы вам экипаж, который рассыплется на куски, прежде чем вы сделаете половину пути до Парижа, представьте себе, как бы я мучился, оставив о себе дурное впечатление у почтенного человека и отдавшись на милость, как мне пришлось бы, d'un homme d'esprit¹⁰.

Доза была отпущена в точности по моему рецепту, так что мне ничего не оставалось, как принять ее, – я вернул мосье Дессену поклон, и, оставив казуистику, мы вместе направились к его сараю осмотреть стоявшие там экипажи.

НА УЛИЦЕ КАЛЕ

Как сильно мир должен быть проникнут духом вражды, если покупатель (хотя бы жалкой почтовой кареты), стоит ему только выйти с продавцом на улицу для окончательногоговора с ним, мгновенно приходит в такое состояние и смотрит на своего контрагента такими глазами, как если бы он направлялся с ним в укромный уголок Гайд-парка драться на дуэли. Что касается меня, то, плохо владея шпагой и никоим образом не будучи в силах состязаться с мосье Дессеном, я почувствовал, что все в голове моей завертелось, как это всегда случается в таких положениях. – Я пронизывал мосье Дессена взглядом, снова и снова – смотрел на него, идя с ним рядом, то в профиль, то en face – решил, что он похож на еврея, потом – на турка, возненавидел его парик – проклинал его на чем свет стоит – посыпал его к черту –

– И все это загорелось в моем сердце из-за жалких трех или четырех луидоров, на которые он самое большее мог меня обсчитать? – Низкое чувство! – сказал я, отворачиваясь, как это невольно делает человек при внезапной смене душевных движений, – низкое, грубое чувство! Рука твоя занесена на каждого, и рука каждого занесена на тебя. – Избави боже! – сказала она, поднимая руку ко лбу, потому что, повернувшись, я оказался лицом к лицу с дамой, которую видел занятой разговором с монахом, – она незаметно шла за нами следом. – Конечно, избави боже! – сказал я, предложив ей руку, – дама была в черных шелковых перчатках, открывавших только большой, указательный и средний пальцы, так что она без колебания приняла мою руку, – и повел ее к дверям сарая.

Мосье Дессен больше пятидесяти раз чертыхнулся, взявшись с ключом, прежде чем заметил, что ключ не тот; мы с не меньшим нетерпением ждали, когда он откроет, и так внимательно наблюдали за его движениями, что я почти бессознательно продолжал держать руку своей спутницы; таким образом, когда мосье Дессен оставил нас, сказав, что вернется через пять минут, рука ее покоилась в моей, а лица наши обращены были к дверям сарая.

Пятиминутный разговор в подобном положении стоит пятикового разговора, при котором лица собеседников обращены к улице: ведь в последнем случае он питается внешними предметами и происшествиями – когда же глаза ваши устремлены на пустое место, вы черпаете единственное из самого себя. Один миг молчания по уходе мосье Дессена был бы роковым в подобном положении: моя дама непременно повернулась бы – поэтому я начал разговор немедленно –

– Но каковы были мои искушения (ведь я пишу не для оправдания слабостей моего сердца во время этой поездки, а для того, чтобы дать в них отчет), – это следует описать с такой же простотой, с какой я их почувствовал.

⁹ Совершенно верно (франц.).

10 Человека остроумного (франц.).

ДВЕРИ САРАЯ КАЛЕ

Я сказал читателю, что не пожелал выйти из *дезоближана*, так как увидел монаха, тихонько разговаривавшего с только что прибывшей в гостиницу дамой, – я сказал читателю правду; но я не сказал ему всей правды, ибо в такой же степени удержали меня внешность и осанка дамы, с которой разговаривал монах. В мозгу моем мелькнуло подозрение, не рассказывает ли он ей о случившемся; что-то как бы резнуло меня внутри – я бы предпочел, чтобы он оставался у себя в монастыре.

Когда сердце опережает рассудок, оно избавляет его от множества трудов – я уверен был, что дама принадлежит к существам высшего порядка, – однако я больше о ней не думал, а продолжал заниматься своим делом и написал предисловие.

При встрече с ней на улице первоначальное впечатление возобновилось; скромность и прямодушие, с которыми она подала мне руку, свидетельствуют, подумал я, о ее хорошем воспитании и здравомыслии; а идя с ней об руку, я чувствовал в ней приятную податливость, которая наполнила покоем все мое существо –

– Благостный боже, как было бы отрадно обойти кругом света рука об руку с таким созданием!

Я еще не видел ее лица – это было несущественно; ведь портрет его мгновенно был набросан; и задолго до того, как мы подошли к дверям сарая, *Фантазия* уже закончила всю голову, не нарадуясь тому, что она так хорошо подошла к ее богине, точно она достала ее *со дна Тибра*. – Но ты обольщенная и обольстительная девчонка; хоть ты и обманываешь нас по семи раз на день своими картинами и образами, ты делаешь это с таким очаровательным искусством и так щедро уснащаешь свои картины ангелами света, что порывать с тобою стыдно.

Когда мы дошли до дверей сарая, дама отняла руку от лица и дала мне увидеть оригинал – то было лицо женщины лет двадцати шести, – чистое, прозрачно-смуглое – прелестное само по себе, без румян или пудры – оно не было безупречно красиво, но в нем заключалось нечто привлекавшее меня в моем тогдашнем состоянии сильнее, чем красота – оно было интересно; я вообразил себе на нем черты вдовства в тот его период, когда скорбь уже пошла на убыль, когда первые два пароксизма горя миновали и овдовевшая начинает тихо мириться со своей утратой, – но тысяча других бедствий могли провести такие же борозды; я пожелал узнать, что под ними кроется, и готов был спросить (если бы это позволил *bon ton* разговора, как в дни Ездры): *«Что с тобой? Почему ты так опечалена? Чем озабочен твой ум?»* – Словом, я почувствовал к ней расположение и решил тем или иным способом внести свою лепту учтивости – если не услужливости.

Таковы были мои искушения – и, очень склонный поддаться им, я был оставлен наедине с дамой, когда рука ее покоилась в моей, а лица наши придвигнулись к дверям сарая ближе, чем было безусловно необходимо.

ДВЕРИ САРАЯ КАЛЕ

– Право, прекрасная дама, – сказал я, чуточку приподнимая ее руку, – престранная это затея Фортуны: взять за руки двух совершенно незнакомых людей – разного пола и прибывших, может быть, с разных концов света – и в один миг поставить их в такое положение сердечной близости, которое вряд ли удалось бы создать для них самой Дружбе, хотя бы она его подготовляла целый месяц –

– И ваше замечание по этому поводу показывает, как сильно, мосье, она вас смутила своей проделкой –

Когда положение в точности соответствует нашим желаниям, ничто не бывает так

некстати, как намек на создавшие его обстоятельства. – Вы благодарите Фортуну, – продолжала она, – и вы были правы – сердце это знало и осталось довольно; кто же, кроме английского философа, довел бы об этом до сведения мозга, чтобы тот отменил приговор сердца?

С этими словами она освободила свою руку, бросив на меня взгляд, в котором я увидел достаточно ясный комментарий к тексту.

Какую жалкую картину слабости моего сердца дам я, признавшись, что оно ощутило боль, которой не могли бы вызвать в нем более достойные поводы. – Я был глубоко огорчен тем, что лишился руки своей спутницы, и манера, какой она ее отняла, не проливала на мою рану ни вина, ни елея: никогда в жизни мне не было так тягостно сознание сделанной оплошности.

Однако истинно женское сердце недолго упивается торжеством, нанося такие поражения. Через несколько секунд она положила руку на обшлаг моего кафтаны, чтобы докончить свой ответ; словом, бог знает как это вышло, но только рука ее снова очутилась в моей.

– Ей нечего было добавить.

Я сейчас же начал придумывать другую тему для разговора с моей дамой, заключив из смысла и морали происшедшего, что я ошибся относительно ее характера; но когда она повернулась ко мне лицом, дух, оживлявший ее ответ, отлетел – мускулы больше не были напряжены, и я заметил то беспомощное выражение скорби, которое с первого взгляда пробудило во мне участие к ней – о, как грустно видеть такую жизнерадостность во власти горя! – Я от души пожалел ее, и хотя это может показаться довольно смешным зачерствелому сердцу – я способен был, не краснея, заключить ее в свои объятия и приласкать тут же на улице.

Биение крови в моих пальцах, прижавшихся к ее руке, поведало ей, что происходит во мне; она потупила глаза – на несколько мгновений воцарилось молчание.

Должно быть, в этот промежуток я сделал слабую попытку крепче сжать ее руку – так я заключаю по легкому движению, которое я ощущал на своей ладони – не то чтобы она намеревалась отнять свою руку – но она словно подумала об этом – и я неминуемо лишился бы ее вторично, не подскажи мне скорее инстинкт, чем разум, крайнего средства в этом опасном положении – держать ее нетвердо и так, точно я сам каждое мгновение готов ее выпустить; словом, дама моя стояла не шевелясь, пока не вернулся с ключом мосье Дессен; тем временем я принял обдумывать, как бы мне изгладить дурное впечатление, наверно оставленное в ее сердце происшествием с монахом, в случае если он рассказал ей о нем.

ТАБАКЕРКА КАЛЕ

Добрый старенький монах был всего в шести шагах от нас, когда я вдруг вспомнил о нем; он к нам приближался не совсем по прямой линии, словно был не уверен, вправе ли он прервать нас или нет. – Однако, поравнявшись с нами, он остановился с самым радушным видом и поднес мне открытую роговую табакерку, которую держал в руке. – Отведайте из моей, – сказал я, доставая свою табакерку (она была у меня черепаховая) и кладя ее в руку монаха. – Табак отменный, – сказал он. – Так сделайте милость, – ответил я, – примите эту табакерку со всем ее содержимым и, когда будете брать из нее щепотку, вспоминайте иногда, что она поднесена была вам в знак примирения человеком, который когда-то грубо обошелся с вами, но зла к вам не питает.

Бедный монах покраснел как рак. – Mon Dieu! – сказал он, сжимая руки, – никогда вы не обращались со мной грубо. – По-моему, – сказала дама, – эта на него не похоже. – Теперь пришел мой черед покраснеть, а почему – предоставлю разобраться тем немногим, у кого есть к этому охота. – Простите, мадам, – возразил я, – я обошелся с ним крайне нелюбезно, не имея к тому никакого повода. – Не может быть, – сказала дама. – Боже мой! – воскликнул монах с горячностью, казалось, ему совсем несвойственной, – вина лежит всецело на мне; я был слишком навязчив со своим рвением. – Дама стала возражать, и я к ней присоединился, утверждая, что такой дисциплинированный ум никого не может оскорбить.

Я не знал, что спор способен оказать столь приятное и успокоительное действие на нервы,

как я это испытал тогда. — Мы замолчали, не чувствуя и следа того нелепого возбуждения, которым вы бываете охвачены, когда в таких случаях по десяти минут глядите друг другу в лицо, не произнося ни слова. Во время этой паузы монах старательно тер свою роговую табакерку о рукав подрясника, и, как только на ней появился от трения легкий блеск, — он низко мне поклонился и сказал, что было бы поздно разбирать, слабость ли или доброта душевная вовлекли нас в этот спор, — но как бы там ни было — он просит меня обменяться табакерками. Говоря это, он одной рукой поднес мне свою, а другой взял у меня мою; поцеловав се, он спрятал у себя на груди — из глаз его струились целые потоны признательности — и распрошался.

Я храню эту табакерку наравне с предметами культа моей религии, чтобы она способствовала возвышению моих помыслов; по правде сказать, без нее я редко отправляюсь куда-нибудь; много раз вызывал я с ее помощью образ ее прежнего владельца, чтобы внести мир в свою душу среди мирской суеты; как я узнал впоследствии, он был весь в ее власти лет до сорока пяти, когда, не получив должного вознаграждения за какие-то военные заслуги и испытав в то же время разочарование в нежнейшей из страстей, он бросил сразу и меч и прекрасный пол и нашел убежище не столько в монастыре своем, сколько в себе самом.

Грустно у меня на душе, ибо приходится добавить, что, когда я спросил о патере Лоренцо на обратном пути через Кале, мне ответили, что он умер месяца три тому назад и похоронен, по его желанию, не в монастыре, а на принадлежащем монастырю маленьком кладбище, в двух лье отсюда. Мне очень захотелось взглянуть, где его похоронили, — и вот, когда я вынул маленькую роговую табакерку, сидя на его могиле, и сорвал в головах у него два или три кустика крапивы, которым там было не место, это так сильно подействовало на мои чувства, что я залился горючими слезами, — но я слаб, как женщина, и прошу моих читателей не улыбаться, а пожалеть меня.

ДВЕРИ САРАЯ КАЛЕ

Все это время я ни на секунду не выпускал руки моей дамы; я держал ее так долго, что было бы неприлично выпустить ее, не прижав сперва к губам. Когда я это сделал, кровь и оживление, сбежавшие с ее лица, потоком хлынули к нему снова.

Случилось, что в эту критическую минуту проходили мимо два путешественника, заговорившие со мной в каретном дворе; увидев наше обращение друг с другом, они, естественно, забрали себе в голову, что мы, — по крайней мере, муж и жена ; вот почему, когда они остановились, подойдя к дверям сафая, один из них, а именно пытливый путешественник, спросил нас, не отправляемся ли мы завтра утром в Париж. — Я сказал, что могу ответить утвердительно только за себя, а дама прибавила, что она едет в Амьен. — Мы вчера там обедали, — сказал простодушный путешественник. — Ваша дорога в Париж проходит прямо через этот город, — прибавил его спутник. Я собирался было рассыпаться в благодарностях за сообщение, что Амьен лежит на дороге в Париж , но, вытащив роговую табакерку бедного монаха с целью взять из нее щепотку табаку, — я спокойно поклонился им и пожелал благополучно доехать до Дувра. — и они нас покинули.

— А что будет плохого, — сказал я себе, — если я попрошу эту удрученную горем даму занять половину моей кареты? — Какие великие беды могут от этого произойти?

Все грязные страсти и гадкие наклонности естества моего всполошились, когда я высказал это предположение. — Тебе придется тогда взять третью лошадь, — сказала Скупость , — и за это карман твой поплатится на двадцать ливров. — Ты не знаешь, кто она, — сказала Осмотрительность , — и в какие передряги может вовлечь тебя твоя затея, — шепнула Трусость .

— Можешь быть уверен, Йорик, — сказало Благоразумие , — что пойдет слух, будто ты отправился в поездку с любовницей и с этой целью сговорился встретиться с ней в Кале.

— После этого, — громко закричало Лицемерие , — тебе невозможно будет показаться в

свете, – или сделать церковную карьеру, – прибавила *Низость*, – и быть чем-нибудь побольше паршивого преображенния.

– Но ведь этого требует вежливость, – сказал я, – и так как в поступках своих я обыкновенно руководясь первым побуждением и редко прислушиваюсь к подобным наговорам, которые, насколько мне известно, способны только обратить сердце в камень, – то я мигом повернулся к даме –

– Но пока шла эта тяжба, она незаметно ускользнула и к тому времени, когда я принял решение, успела сделать по улице десять или двенадцать шагов; я поспешил броситься вдогонку, чтобы как-нибудь поискуснее сделать ей свое предложение; однако, заметив, что она идет, опершись щекой на ладонь и потупив в землю глаза – медленными, размеренными шагами человека, погруженного в раздумье, – я вдруг подумал, что и она обсуждает тот же вопрос. – Помоги ей, боже! – сказал я, – верно, у нее, как и у меня, есть какая-нибудь ханжа-тетка, свекровь или другая вздорная старуха, с которыми ей надо мысленно посоветоваться об этом деле. – Вот почему, не желая ей мешать и решив, что галантнее будет взять ее скромностью, а не натиском, я повернул назад и раза два прошелся перед дверями сарая, пока она продолжала свой путь, погруженная в размышления.

НА УЛИЦЕ КАЛЕ

При первом же взгляде на даму решив в своем воображении, «что она существо высшего порядка», – и выставив затем вторую аксиому, столь же неоспоримую, как и первая, а именно, что она – вдова, удрученная горем, – я дальше не пошел: – я и так достаточно твердо занимал положение, которое мне нравилось – так что, пробудь она бок о бок со мной до полуночи, я остался бы верен своим догадкам и продолжал рассматривать ее единственно под углом этого общего представления.

Но не отошла она еще от меня и двадцати шагов, как что-то во мне стало требовать более подробных сведений – навело на мысль о предстоящей разлуке – может быть, никогда больше не придется ее увидеть – сердцу хочется сберечь, что можно; мне нужен был след, по которому желания мои могли бы найти путь к ней в случае, если бы мне не довелось больше с ней встретиться; словом, я желал узнать ее имя – ее фамилию – ее общественное положение; так как мне известно было, куда она едет, то захотелось узнать, откуда она приехала; но не было никакого способа подступиться к ней за всеми этими сведениями: деликатность воздвигала на пути сотню маленьких препятствий. Я строил множество различных планов. – Нечего было и думать о том, чтобы спросить ее прямо, – это было невозможно.

Бойкий французский офицерик, проходивший по улице приплясывая, показал мне, что это самое легкое дело на свете; действительно, проскользнув между нами как раз в ту минуту, когда дама возвращалась к дверям сарая, он сам мне представился и, не успев еще как следует отрекомендоваться, попросил меня сделать ему честь и представить его даме. – Я сам не был представлен, – тогда, повернувшись к ней, он сделал это самостоятельно, спросив ее, не из Парижа ли она приехала? – Нет; она едет по направлению к Парижу, – сказала дама. – Vous n'êtes pas de Londres?¹¹ – Нет, не из Лондона, – отвечала она. – В таком случае мадам прибыла через Фландрию. Apparemment vous êtes Flamande?¹² – спросил французский офицер. – Дама ответила утвердительно. – Peut-être de Lille?¹³ – продолжал он. – Она сказала, что не из Лилля. – Так, может быть, из Арраса? – или из Камбре? – или из Гента? – или из Брюсселя? –

¹¹ Вы не из Лондона? (франц.).

¹² Очевидно, вы фламандка? (франц.).

¹³ Может быть, из Лилля? (франц.).

Дама ответила, что она из Брюсселя.

Он имел честь, — сказал офицер, — находиться при бомбардировке этого города в последнюю войну. Брюссель прекрасно расположен pour cela¹⁴ и полон знати, когда имперцы вытеснены из него французами (дама сделала легкий реверанс); рассказав ей об этом деле и о своем участии в нем, — он попросил о чести узнать ее имя — и откланялся.

— Et Madame a son mari? ¹⁵ — спросил он, оглянувшись, когда уже сделал два шага — и, не дожидаясь ответа, — понесясь дальше своей танцующей походкой.

Даже если бы я семь лет обучался хорошим манерам, все равно я бы не способен был это проделать.

САРАЙ КАЛЕ

Когда французский офицерик ушел, явился мосье Дессен с ключом от сарая в руке и тотчас впустил нас в свой склад повозок.

Первым предметом, бросившимся мне в глаза, когда мосье Дессен отворил двери, был другой старый ободранный *дезоближсан*; но хотя он был точной копией того, что лишь час назад пришелся мне так по вкусу на каретном дворе, — теперь один его вид вызвал во мне неприятное ощущение; и я подумал, каким же скаредом был тот, кому впервые пришла в голову мысль соорудить такую штуку; не больше снисхождения оказал я человеку, у которого могла явиться мысль этой штукой воспользоваться.

Я заметил, что дама была столь же мало прельщена *дезоближсаном*, как и я; поэтому мосье Дессен подвел нас к двум стоявшим рядом каретам и, рекомендую их нашему вниманию, сказал, что они куплены были лордами А. и Б. для *grand tour*¹⁶, но дальше Парижа не побывали и, следовательно, во всех отношениях так же хороши, как и новые. — Они были слишком хороши, — почему я перешел к третьей карете, стоявшей позади, и сейчас же начал сговариваться о цене. — Но в ней едва ли поместятся двое, — сказал я, отворив дверцу и войдя в карету. — Будьте добры, мадам, — сказал мосье Дессен, предлагая руку, — войдите и вы. — Дама поколебалась с полсекунды и вошла; в это время слуга кивком подозвал мосье Дессена, и тот захлопнул за нами дверцу кареты и покинул нас.

САРАЙ КАЛЕ

— C'est bien comique, это очень забавно, — сказала дама, улыбаясь при мысли, что уже второй раз мы остались наедине благодаря нелепому стечению случайностей. — C'est bien comique, — сказала она.

— Чтобы получилось совсем забавно, — сказал я, — не хватает только комичного употребления, которое сделала бы из этого французская галантность; сначала объясниться в любви, а затем предложить свою особу.

— В этом их *сила*, — возразила дама.

— Так, по крайней мере, принято думать, — а почему это случилось, — продолжал я, — не знаю, но, несомненно, французы стяжали славу людей, наилучше понимающих в любви и наилучших волокит на свете; однако что касается меня, то я считаю их жалкими пачкунами и,

¹⁴ Для этого (франц.).

¹⁵ Мадам замужем? (франц.).

¹⁶ Большое путешествие (франц.).

право же, самыми дрянными стрелками, какие когда-либо испытывали терпение Купидона.

Надо же такое выдумать: объясняться в любви при помощи sentiments! 17

— С таким же успехом я бы выдумал сшить изящный костюм из лоскутков. — Объясниться — хлоп — с первого же взгляда признанием — значит подвергнуть свое предложение и самих себя вместе с ним, со всеми *pours et contres* 18, суду холодного разума.

Дама внимательно слушала, словно ожидая, что я скажу еще.

— Возьмите, далее, во внимание, мадам, — продолжал я, — кладя свою ладонь на ее руку —

Что серьезные люди ненавидят Любовь из-за самого ее имени —

Что люди себялюбивые ненавидят ее из уважения к самим себе —

Лицемеры — ради неба —

И что, поскольку все мы, и старые и молодые, в десять раз больше напуганы, чем задеты, самым звуком этого слова —

Какую неосведомленность в этой области человеческих отношений обнаруживает тот, кто дает слову сорваться со своих губ, когда не прошло еще, по крайней мере, часа или двух с тех пор, как его молчание об этом предмете стало мучительным. Ряд маленьких немых знаков внимания, не настолько подчеркнутых, чтобы вызвать тревогу, — но и не настолько неопределенных, чтобы быть неверно понятыми, — да время от времени нежный взгляд, брошенный без слов или почти без слов, — оставляет Природе права хозяйки, и она все обделает по своему вкусу. —

— В таком случае, — сказала, зардевшись, дама, — я вам торжественно объявляю, что все это время вы объяснялись мне в любви.

САРАЙ КАЛЕ

Мосье Дессен, вернувшись, чтобы выпустить нас из кареты, сообщил даме о прибытии в гостиницу графа Л., ее брата. Несмотря на все свое расположение к спутнице, не могу сказать, чтобы в глубине сердца я этому событию обрадовался — я не выдержал и признался ей в этом: ведь это гибельно, мадам, — сказал я, — для предложения, которое я собирался вам сделать. —

— Можете мне не говорить, что это было за предложение, — прервала она меня, кладя свою руку на обе мои. — Когда мужчина, милостивый государь мой, готовится сделать женщине любезное предложение, она обыкновенно заранее об этом догадывается. —

— Оружие это, — сказал я, — природа дала ей для самосохранения. — Но я думаю, — продолжала она, глядя мне в лицо, — мне нечего было опасаться — и, говоря откровенно, я решила принять ваше предложение. — Если бы я это сделала — (она минуточку помолчала), — то, думаю, ваши добрые чувства выманили бы у меня рассказ, после которого единственной опасной вещью в нашей поездке была бы жалость.

Говоря это, она позволила мне дважды поцеловать свою руку, после чего вышла из кареты с растроганным и опечаленным взором — и попрощалась со мной.

НА УЛИЦЕ КАЛЕ

Никогда в жизни не случалось мне так быстро заключать сделку на двадцать гиней. Когда я лишился дамы, время потянулось для меня томительно-медленно; вот почему, зная, что теперь каждая минута будет равняться двум, пока я сам не приду в движение, — я немедленно заказал почтовых лошадей и направился в гостиницу.

17 Чувств (франц.).

18 «За» и «против» (франц.).

— Господи! — сказал я, услышав, как городские часы пробили четыре, и вспомнив, что нахожусь в Кале всего лишь час с небольшим —

— Какой толстый том приключений может выйти из этого ничтожного клочка жизни у того, в чьем сердце на все находится отклик и кто, приглядываясь к каждой мелочи, которую помещают на пути его время и случай, не упускает ничего, чем он может *со спокойной совестью завладеть* —

— Из одного ничего не выйдет, выйдет — из другого — все равно — я сделаю пробу человеческой природы. — Вознаграждением мне служит самый мой труд — с меня довольно. — Удовольствие, доставляемое мне этим экспериментом, держало в состоянии бодрого напряжения мои чувства и лучшую часть моих жизненных сил, усыпляя в то же время их более низменную часть.

Жаль мне человека, который способен пройти от *Дана* до *Вирсавии*, восклицая: «Как все бесплодно кругом!» — ведь так оно и есть; таков весь свет для того, кто не хочет возделывать приносимых им плодов. Ручаюсь, — сказал я, весело хлопая в ладоши, — что, окажись я в пустыне, я непременно отыскал бы там что-нибудь способное пробудить во мне приязненные чувства. — Если бы не нашлось ничего лучшего, я бы сосредоточил их на душистом мирте или отыскал меланхоличный кипарис, чтобы привязаться к нему — я бы вымаливал у них тень и дружески их благодарили за кров и защиту — я бы вырезал на них мое имя и поклялся, что они прекраснейшие деревья во всей пустыне; приувядании их листвьев я научился бы горевать, и при их оживлении ликовал бы вместе с ними.

Ученый *Смельфунгус* совершил путешествие из Булони в Париж — из Парижа в Рим — и так далее, — но он отправился в дорогу, страдая сплином и разлитием желчи, отчего каждый предмет, попадавшийся ему на пути, обесцвечивался или искажался. — Он написал отчет о своей поездке, но то был лишь отчет о его дрянном самочувствии.

Я встретил *Смельфунгуса* в большом портике Пантеона — он только что там побывал. — Да ведь это только огромная площадка для петушиных боев¹⁹, — сказал он, — Хорошо, если вы не сказали чего-нибудь похоже о Венере Медицейской, — ответил я, так как, проезжая через Флоренцию, слышал, что он непристойно обругал богиню и обошелся с ней хуже, чем с уличной девкой, без малейшего к тому повода.

Я снова столкнулся со *Смельфунгусом* в Турине, когда он уже возвращался домой; он мог рассказать лишь печальную повесть о злоключениях, в которой «говорил о бедствиях на суше и на морях, о каннибалах, что едят друг друга: антропофагах», — на каждой станции, где он останавливался, с него живого сдирали кожу, его терзали и мучили хуже, чем святого Варфоломея. —

— Я расскажу об этом, — кричал *Смельфунгус*, — всему свету! — Лучше бы вы рассказали, — сказал я, — вашему врачу.

Мундунгус, обладатель огромного состояния, совершил длинное круговое путешествие: он проехал из Рима в Неаполь — из Неаполя в Венецию — из Венеции в Вену — в Дрезден, в Берлин, не будучи в состоянии рассказать ни об одном великодушном поступке, ни об одном приятном приключении; он ехал прямо вперед, не глядя ни направо, ни налево, чтобы ни Любовь, ни Жалость не сорвали его с пути.

Мир им! — если они могут его найти; но само небо, хотя бы туда открыт был доступ людям такого душевного склада, не имело бы возможности его дать, — пусть даже все блаженные духи прилетели бы на крыльях любви приветствовать их прибытие, — и ничего не услышали бы души *Смельфунгуса* и *Мундунгуса*, кроме новых гимнов радости, новых восторгов любви и новых поздравлений с общим для всех их блаженством. — Мне их сердечно жаль: они не выработали никакой восприимчивости к нему; и хотя бы даже *Смельфунгусу* и *Мундунгусу* отведено было счастливейшее жилище на небесах, они чувствовали бы себя настолько далекими от счастья, что души *Смельфунгуса* и *Мундунгуса* веки вечные

¹⁹ Смотри «Путешествия С[19]а». — Л. Стерн.

предавались бы там сокрушению.

МОНТРЕЙ

В дороге я потерял с задка кареты чемодан и дважды выходил под дождем, один раз увязнув по колена в грязи, чтобы помочь кучеру вновь привязать его, но все не мог понять, чего мне недостает. – Только но приезде в Монтрей, когда хозяин гостиницы спросил, не нужен ли мне слуга, я вдруг сообразил, что мне недостает именно слуги.

– Слуга! До зарезу нужен, – сказал я. – Дело в том, мосье, – продолжал хозяин, – что здесь есть смышленый парень, который почел бы за большую честь служить у англичанина. – Но почему у англичанина предпочтительнее, чем у кого-нибудь другого? – Англичане так щедры, – сказал хозяин. – Голову отдаю на отсечение, – сказал я про себя, – если мне не придется поплатиться за это лишним ливром сегодня же вечером. – Но они могут себе это позволить, – прибавил он. – За это выкладывай еще один ливр, – подумал я. – Не далее, как прошедшую ночь, – продолжал хозяин, – un Mylord Anglais presentait un ecu a la fille de chambre. – Tant pis pour Mademoiselle Jeanneton²⁰, – сказал я.

Жаннетон была хозяйской дочерью, и хозяин, подумав, что я не силен во французском, взял на себя смелость осведомить меня, что мне следовало сказать не tant pis, a tant mieux. – Tant mieux, toujours, Monsieur²¹, – сказал он, – когда что-нибудь получаешь, tant pis – когда ничего не получаешь. – Да ведь это сводится к одному и тому же, – сказал я. – Pardonnez-moi²², – сказал хозяин.

Едва ли представится мне более подходящий случай раз-навсегда заметить, что поскольку tant pis и tant mieux являются двумя стержнями французского разговора, иностранцам перед приездом в Париж надо хорошенько освоиться с правильным их употреблением.

Один шустрый французский маркиз за столом у нашего посла спросил мистера Ю., не он ли поэт Ю. – Нет, – мягко ответил Ю. – Tant pis, – сказал маркиз.

– Это историк Ю., – сказал кто-то. – Tant mieux, – отозвался маркиз. – Мистер Ю., чудесной души человек, сердечно поблагодарил его за то и за другое.

Просветив меня на этот счет, хозяин кликнул Ла Флера (так назывался молодой человек, о котором он мне говорил), – предварительно, впрочем, заметив, что он ничего не смеет сказать о его талантах – мосье лучше может судить, что ему подходит; но за преданность Ла Флера он готов поручиться всем своим состоянием.

Хозяин сказал это таким подкупавшим тоном, что я решил сразу же покончить с занимавшим меня делом – и Ла Флер, который поджидал за дверью, затаив дыхание, как это доводилось в свой черед каждому из детей природы, вошел ко мне.

МОНТРЕЙ

Я способен с первого же взгляда почувствовать расположение к самым различным людям, в особенности когда какой-нибудь бедняк является предложить свои услуги такому бедняку, как я; зная за собой эту слабость, я всегда допускаю некоторое ограничение моего суждения – большее или меньшее, в зависимости от расположения духа и обстоятельств, – а также, могу добавить, пола особы, поступающей ко мне на службу.

Когда Ла Флер вошел в мою комнату и я мысленно выправил все, что могла преувеличить моя чувствительность, открытый взор и честное лицо парня сразу решили дело в его пользу;

²⁰ Один английский милорд подарил экю горничной. – Тем хуже для мадемуазель Жаннетон (франц.).

²¹ Не «тем хуже», а «тем лучше». Тем лучше всегда, мосье (франц.).

²² Извините (франц.).

поэтому я сначала его понял, — а затем стал спрашивать, что он умеет. — Я обнаружу его таланты, — сказал я, — когда в них встретится надобность, — кроме того, француз — на все руки мастер.

Оказалось, что бедный Ла Флер единствено только и умеет, что бить в барабан да дудеть два-три марша на флейте. Я решил положиться на его дарования и должен сказать, что моя слабость никогда не подвергалась таким насмешкам со стороны моей мудрости, как при этой попытке.

Как большинство французов, Ла Флер храбро начал свое "жизненное поприще, проведя в молодости несколько лет на службе . По окончании ее, удовлетворив свое тщеславие и найдя, что честь бить в барабан, по-видимому, заключает награду в себе самой, так как она не открывала ему никаких дальнейших путей к славе, — он удалился a ses terres ²³ и жил comme il plaisirait a Dieu — то есть чем бог пошлет.

— Итак, — сказала Мудрость, — для своего путешествия по Франции и Италии ты нанял себе в слуги барабанщика! — Так что ж? — отвечал я. — Разве половина наших дворян не проделывает этого самого пути с каким-нибудь фетюком в качестве compagnon de voyage ²⁴, платя вдобавок и за черта, и за дьявола, и за всякую всячину? — когда человек способен выпутаться с помощью *острого слова* в таком неравном состязании, дела его вовсе не так плохи. — Ведь вы умеете делать еще что-нибудь, Ла Флер? — спросил я. — О qu'oui ²⁵, — он умеет шить гетры и немного играет на скрипке. — Браво! — воскликнула Мудрость. — Я сам играю на виолончели, — сказал я, — мы отлично поладим. А умеете вы брить и оправлять немного парик, Ла Флер? — У него охота ко всему на свете. — Этого довольно для неба, — перебил я его, — а для меня так и подавно. — И вот, когда подоспел ужин и по одну сторону моего стула поместился резвый английский спаниель, а по другую — француз-слуга со всей той веселостью на лице, какую способна изобразить на наших лицах природа, — я от всей души остался доволен моей державой и думаю, что если бы монархи знали, чего они хотят, то и они были бы так же довольны, как я.

МОНТРЕЙ

Так как Ла Флер сопровождал меня в течение всего моего путешествия по Франции и Италии и будет не раз еще появляться на сцене, то я должен немного более расположить читателя в его пользу, сказав, что никогда движения сердца, обыкновенно определяющие мои поступки, не давали мне меньше поводов к раскаянию, чем в отношении этого парня, — то была самая прямая, любящая и простая душа, какой когда-либо приходилось тащиться по пятам за философом; хотя его выдающиеся дарования по части барабанного боя и шитья гетр оказались для меня довольно бесполезными, однако я был ежечасно вознаграждаем веселостью его нрава — она возмещала все его недостатки. — Глаза его всегда давали мне поддержку во всех моих несчастиях и затруднениях, я чуть было не добавил — и его тоже; но Ла Флера ничем нельзя было пронять; в самом деле, какие бы невзгоды судьбы ни постигали его в наших странствиях: голод ли, жажда, холод или бессонные ночи, — по лицу его о них ничего нельзя было прочесть — он всегда был одинаков; таким образом, если я являюсь чуточку философом, как это время от времени внушает мне лукавый, — гордость моя этим званием бывает сильно задета, когда я размышляю, сколь многим обязан я жизнерадостной философии этого бедного парня, посрамившего меня и научившего высшей мудрости. При всем том у Ла Флера был легкий налет фатовства, — но фатовство это казалось с первого взгляда скорее природным, чем

²³ В свои края (франц.).

²⁴ Попутчика (франц.).

²⁵ О, да (франц.).

искусственным; и не прожил я с ним и трех дней в Париже, как убедился, что он вовсе не фат.

МОНТРЕЙ

Когда Ла Флер на следующее утро приступил к исполнению своих обязанностей, я вручил ему ключ от моего чемодана вместе с описью полудюжины рубашек и пары шелковых штанов и велел уложить все это в карету, а также распорядиться, чтобы запрягали лошадей, — и попросить хозяина принести счет.

— C'est un garçon de bonne fortune²⁶, — сказал хозяин, показывая в окно на полдюжину девиц, стоявших вокруг Ла Флера и очень дружественно с ним прощавшихся, в то время как кучер выводил из конюшни лошадей. Ла Флер несколько раз поцеловал всем девицам руку, трижды вытер глаза и трижды пообещал привезти им всем из Рима отпущение грехов.

— Этого юношу, — сказал хозяин, — любят весь город, и едва ли в Монтрее есть уголок, где не почувствуют его отсутствия. Единственное его несчастье в том, — продолжал хозяин, — что «он всегда влюблен». — От души этому рад, — сказал я, — это избавит меня от хлопот класть каждую ночь под подушку свои штаны. — Я сказал это в похвалу не столько Ла Флеру, сколько самому себе, потому что почти всю свою жизнь был влюблен то в одну, то в другую принцессу, и, надеюсь, так будет продолжаться до самой моей смерти, ибо твердо убежден в том, что если я сделаю когда-нибудь подлость, то это непременно случится в промежуток между моими увлечениями; пока продолжается такое междуцарствие, сердце мое, как я заметил, всегда заперто на ключ, — я едва нахожу у себя шестипенсовик, чтобы подать нищему, и потому стараюсь как можно скорее выйти из этого состояния; когда же я снова воспламеняюсь, я снова — весь великодушный и доброта и охотно делаю все на свете для кого-нибудь или с кем-нибудь, если только мне поручатся, что в этом не будет греха.

— Однако, говоря так, — я, понятно, восхваляю любовь, — а вовсе не себя.

ОТРЫВОК

Город Абдера, несмотря на то что в нем жил Демокрит, старавшийся всей силой своей иронии и насмешки исправить его, был самым гнусным и распутным городом во всей Фракии. Каких только отравлений, заговоров и убийств, — каких поношений и клеветы, каких бесчинств не бывало там днем, — а тем более ночью.

И вот, когда дальше идти уже было некуда, случилось, что в Абдере поставлена была «Андромеда» Еврипода, которая привела в восторг весь театр; но из всех пленивших зрителей отрывков ничто так сильно не подействовало на их воображение, как те нежные звуки природы, которыми поэт оживил страстную речь Персея: *О Эрот*, властитель богов и людей, и т. д. На другой день почти все жители города говорили правильными ямбами, — только и слышно было о Персее и о его страстном обращении: «О Эрот, властитель богов и людей», — на каждой улице Абдеры, в каждом доме: «О Эрот! Эрот!» — во всех устах, подобно безыскусственным звукам сладостной мелодии, непроизвольно из них вырывающейся, — единственno только: «Эрот! Эрот! Властитель богов и людей». — Огонь вспыхнул — и весь город, подобно сердцу отдельного человека, отверзся для Любви.

Ни один аптекарь не мог продать ни крупицы чемерицы — ни у одного оружейного мастера не лежало сердце ковать орудия смерти. — Дружба и Добродетель встречались друг с другом и целовались на улице — золотой век вернулся и почил над городом Абдерой — все абдериты достали пастушеские свирели, а абдеритки, отложив свою пурпурную ткань, целомудренно садились слушать песню. —

Сделать это, — гласит Отрывок, — в силах был лишь тот бог, чье владычество простирается от неба до земли и даже до морских глубин.

²⁶ Этот парень пользуется успехом у женщин (франц.).

МОНТРЕЙ

Когда уже все готово к отъезду и каждая статья счета гостиницы обсуждена и оплачена, вам всегда приходится, если вы не очень раздражены этой процедурой, уладить возле дверей, перед тем как вы сядете в карету, еще одно дело – с сыновьями и дочерьми бедности, которые вас обступают. Никогда не говорите: «Пусть убираются к черту», – ведь это значит посыпать в тяжкий путь нескольких несчастных, которые и без того довольно страдали. Я всегда предпочитал взять в горсть несколько су и посоветовал бы каждому благородно – my путешественнику последовать моему примеру; он может обойтись без подробной записи, по каким соображениям он роздал свои деньги – все это будет зачтено ему в другом месте.

Что касается меня, то никто не дает так мало, как я; ведь лишь у немногих из тех, кого я знаю, такая скучная мошна. Все-таки, поскольку это был первый мой публичный акт благотворительности во Франции, я отнесся к нему с большим вниманием.

– Увы! – сказал я, – у меня всего-навсего восемь су, – я раскрыл руку и показал деньги, – а здесь на них рассчитывают восемь бедных мужчин и восемь бедных женщин.

Бедный оборванец без рубахи немедленно взял назад свое притязание, выступив на два шага из круга и сделав поклон в знак отказа от своей доли. Если бы весь партер закричал в один голос: Place aux dames²⁷, это и наполовину не выразило бы чувствауважения к слабому полу, которое заключено было в жесте бедняка.

Праведный боже! По каким мудрым основаниям устроил ты, чтобы крайняя степень нищеты и изысканная вежливость, которые в таком разладе в других странах, нашли здесь дорогу к согласию?

– Я все-таки подарил ему одно су просто за его politesse²⁸.

Подвижный паренек крошечного роста, стоявший в круге как раз напротив меня, сунул под мышку какой-то предмет, когда-то бывший шляпой, вытащил из кармана табакерку и щедро предложил по щепотке соседям направо и налево: дар был настолько внушителен, что те из скромности отказались. – Бедный карлик проявил, однако, настойчивость: – Prenez-en – prenez²⁹, – сказал он, приветливо им кивнув, но глядя в другую сторону; тогда каждый из них взял по щепотке. – Жаль, если твоя табакерка когда-нибудь опустеет, – сказал я про себя и положил в нее два су, – но, чтобы повысить их ценность, сам взял при этом из нее небольшую щепотку. – Бедняга почувствовал вес второго одолжения сильнее, чем вес первого, – им я оказал ему честь – первое же было только милостыней – и он поблагодарил меня за него земным поклоном.

– Вот! – сказал я старому однорукому солдату, участвовавшему в походах и до смерти измученному на службе отечеству, – вот тебе два су. – Vive le Roi!³⁰ – отвечал старый вояка.

После этого у меня осталось только три су. Одно я отдал просто pour l'amour de Dieu³¹, так как на этом основании его у меня попросили. – У бедной женщины было вывихнуто бедро, и потому ей и нельзя было подать по каким-нибудь другим соображениям.

²⁷ Место дамам (франц.).

²⁸ Вежливость (франц.).

²⁹ Берите же – берите (франц.).

³⁰ Да здравствует король! (франц.).

³¹ Ради бога (франц.).

– Mon cher et tres charitable Monsieur³². – На это ничего не возразишь, – сказал я.

– My Lord Anglais³³, – самый звук этих слов стоил денег – и я отдал за него *мое последнее су*. Но в пылу раздачи я проглядел одного pauvre honteux³⁴, для которого некому было попросить су и который, я уверен, скорее погиб бы, чем попросил для себя сам. Он стоял возле кареты, немного в стороне от кружка обступивших меня нищих и вытирая слезу на лице, видевшем, как мне показалось, лучшие дни. – Праведный боже! – сказал я, – а у меня не осталось для него ни одного су. – Да ведь у тебя их тысяча! – громко закричали все зашевелившиеся во мне силы природы, – и вот я дал ему – не важно, сколько – теперь мне стыдно сказать, *как много*, – а тогда было стыдно подумать, как мало. Таким образом, если читатель способен составить какое-нибудь представление о моем тогдашнем состоянии, то, пользуясь этими двумя твердыми отправными точками, он может отгадать величину моего подаяния с точностью до одного или двух ливров.

Для остальных у меня не нашлось ничего, кроме *Dieu vous benisse*. – Et le bon Dieu vous benisse encore³⁵, – сказали старый солдат, карлик и пр. Но pauvre honteux ничего не в силах был сказать – он достал маленький носовой платок и, отвернувшись, вытер глаза – и мне показалось, что он благодарен мне больше, чем все остальные.

БИДЕ

Устроив все эти маленькие дела, я сел в почтовую карету с таким удовольствием, как еще никогда в жизни не садился в почтовые кареты, а Ла Флер, закинув один огромный ботфорт на правый бок маленького *биде*³⁶, другую же свесив с левого бока (ног его я в расчет не принимаю), поскакал передо мной легким галопом, счастливый и статный, как принц. –

– Но что такое счастье! что такое величие на пестрой сцене жизни! Не проехали мы и одного лье, как галоп Ла Флера внезапно был остановлен мертвым ослом – его лошадка не пожелала пройти мимо трупа – между нею и седоком завязался спор, и бедный парень первым же взмахом ее копыт был выброшен из своих ботфорта.

Ла Флер перенес свое падение, как истый француз-христианин, сказав по его поводу всего-навсего: *Diable!* – он мигом встал и снова навалился верхом на свою лошадку, принявши колотить ее так, как будто под ним был его барабан.

Лошадка метнулась от одного края дороги к другому – потом обратно – туда-сюда, словом, готова была идти куда угодно, Только не мимо павшего осла. – Ла Флер настаивал на своем – и лошадка его сбросила.

– Что случилось с твоим конем, Ла Флер? – спросил я. – Monsieur, – сказал он, – c'est un cheval le plus opiniatre du monde³⁷. – Ну, если это такая упрямая скотина, так пусть себе идет, куда знает, – отвечал я. После этого Ла Флер отпустил коня, хорошенько стегнув его, а тот поймал меня на слове и во весь опор помчался назад в Монтрей. – Peste! – сказал Ла Флер.

³² Дорогой и милостивый господин (франц.).

³³ Милорд английский (франц.).

³⁴ Застенчивого бедняка (франц.).

³⁵ Да благословит вас бог. – И вас да благословит господь бог (франц.).

³⁶ Почтовая лошадь. – Л. Стерн.

³⁷ Сударь, это самая упрямая лошадь на свете (франц.).

Не будет mal-a-propos³⁸ заметить здесь, что, хотя Ла Флер прибегнул в этой передряге только к двум восклицаниям, а именно: Diable! и Peste! – однако во французском языке их существует три; подобно положительной, сравнительной и превосходной степеням, то или иное из них употребляется в жизни при каждом неожиданном стечении обстоятельств.

Le Diable! – первая – положительная степень – употребляется главным образом при обыкновенных душевных движениях, когда что-нибудь случается вопреки нашим ожиданиям – например, когда при игре в кости выпадает одинаковое число очков, – когда вас, как Ла Флера, сбрасывает лошадь, и так далее. – Наставление мужу рогов по этой же причине всегда вызывает возглас: Le Diable!

Но если неожиданная случайность заключает в себе нечто вызывающее, как это было, когда лошадка бросилась наутек, оставив опешившего Ла Флера в ботфортах, – это уж вторая степень.

Тогда говорят: Peste!

Что же касается третьей –

– Но здесь сердце мое сжимается от жалости и сочувствия, когда я раздумываю, как тяжек должен быть уд ел столь утонченного народа и какие горькие страдания должен был он претерпеть, чтобы быть вынужденным ее употреблять. –

Вкладывайте мне в уста, о силы, оделяющие язык наш красноречием в несчастии! – что бы ни выпало на мою долю, – вкладывайте мне в уста одни лишь пристойные слова для выражения моих чувств, и я дам волю моим естественным порывам.

– Но так как подобные слова были не в ходу во Франции, то я решил принимать каждую приключившуюся со мной беду молча, не отзываясь на нее никаким восклицанием.

Ла Флер, такого договора с собой не заключавший, провожал упрямую лошадь глазами, пока не потерял ее из виду, – после чего предоставляю вам самим догадаться, если угодно, каким словцом заключил он всю эту передрягу.

Так как не могло быть и речи о том, чтобы Ла Флеру в ботфортах гнаться за напуганной лошадью, то мне оставалось только взять его или на запятки, или в карету. –

Я предпочел последнее, и в полчаса мы доехали до почтового двора в Нанпоне.

МЕРТВЫЙ ОСЕЛ НАНПОН

– А это, – сказал он, складывая хлебные корки в свою котомку, – это составило бы твою долю, если бы ты был жив и мог ее разделить со мной. – По тону, каким это было сказано, я подумал, что он обращается к своему ребенку; но он обращался к своему ослу, тому самому ослу, труп которого мы видели на дороге и который был причиной злоключения Ла Флера. Человек, по-видимому, очень горевал по нему, и это вдруг напомнило мне оплакивание Санcho своего осла, но в тоне голоса незнакомца звучало больше искренности и естественности.

Горевавший сидел на каменной скамье у дверей, а рядом с ним лежали выючное седло и уздечка осла, которые он время от времени приподнимал – потом клал на землю – смотрел на них – и качал головой. Потом он снова вынул из котомки хлебную корку, как будто собираясь ее съесть, – подержал некоторое время в руке – положил на удила ослиной уздечки – задумчиво поглядел на устроенное им маленькое сооружение – и тяжко вздохнул.

Трогательная простота его горя привлекла к нему, пока закладывали лошадей, множество народа, в том числе и Ла Флера; так как я остался в карете, то мог все слышать и видеть через головы собравшихся.

– Он сказал, что недавно прибыл из Испании, куда ездил из отдаленного конца Франконии, и проделал вот уж какой конец обратного пути, когда пал его осел. Всем, по-видимому, хотелось узнать, что могло побудить такого старого и бедного человека

³⁸ Некстати (франц.).

пуститься в такое далекое путешествие.

— Небу угодно было, — сказал он, — благословить его тремя сыновьями — молодцами, каких больше не сыскать во всей Германии; но когда двух старших в одну неделю унесла оспа, а младший свалился от этой же болезни, он испугался, что лишатся всех своих детей, и дал обет, если небо не возьмет от него последнего, в благодарность совершить паломничество в Сант-Яго, в Испанию.

Дойдя до этого места, объятый горем рассказчик остановился, чтобы заплатить дань природе, — он горько заплакал.

— Небо, — сказал он, — приняло его условия, и он отправился из своей хижины с этим бедным созданием, которое терпеливо делило тяготы его путешествия — всю дорогу ело с ним его хлеб и было ему как бы другом.

Все собравшиеся слушали бедняка с участием, — Ла Флер предложил ему денег. — Горевавший сказал, что он в них не нуждается — дело не в цене осла, — а в его утрате. Осел, — сказал он, — без всякого сомнения, его любил, — и тут он рассказал слушателям длинную историю о постигшем его и осла при переходе через Пиренеи несчастье, которое на три дня их разлучило; в течение этого времени осел искал его так же усердно, как сам он искал осла, и оба они почти не прикасались ни к еде, ни к питью, пока не встретились друг с другом.

— После потери этого животного у тебя есть, мой друг, по крайней мере, одно утешение; я уверен, что ты был для него милосердным хозяином. — Увы, — сказал горевавший, — я тоже так думал, пока он был жив, — но теперь, когда он мертв, я думаю иначе. — Боюсь, мой вес вместе с грузом моих горестей оказался для него непосильным — они сократили дни бедного создания, и, боюсь, ответственность за это падает на меня. — Позор для нашего общества! — сказал я про себя. — Если бы мы любили друг друга, как этот бедняк любил своего осла, — это бы кое-что значило, —

КУЧЕР НАНПОН

Печаль, в которую поверг меня рассказ бедняка, требовала к себе бережного отношения; между тем кучер не обратил на нее никакого внимания, пустившись вскачь по pave³⁹.

Изнывающий от жажды путник в самой песчаной Аравийской пустыне не мог бы так томиться по чашке холодной воды, как томилась душа моя по чинным и спокойным движениям, и я составил бы высокое мнение о моем кучере, если бы тот тихонько повез меня, так сказать, задумчивым шагом. — Но едва только удрученный горем странник кончил свои жалобы, как парень безжалостно стегнул каждую из своих лошадей и с грохотом помчался как тысяча чертей.

Я во всю мочь закричал ему, прося, ради бога, ехать медленнее, — но чем громче я кричал, тем немилосерднее он гнал. — Черт его побери вместе с его гонкой, — сказал я, — он будет терзать мои нервы, пока не доведет меня до белого каления, а потом поедет медленнее, чтобы дать мне досыта насладиться яростью моего гнева.

Кучер бесподобно справился с этой задачей: к тому времени, когда мы доехали до подошвы крутой горы в полулье от Нанпона, — я был зол уже не только на него — но и на себя за то, что отдался этому порыву злобы.

Теперь состояние мое требовало совсем другого обращения: хорошая встряска от быстрой езды принесла бы мне существенную пользу.

— Ну-ка, живее — живее, голубчик! — сказал я.

Кучер показал на гору — тогда я попробовал мысленно вернуться к повести о бедном немце и его осле — но нить оборвалась — и для меня было так же невозможно восстановить ее, как для кучера пустить лошадей рысью —

³⁹ Булыжной мостовой (франц.).

— К черту всю эту музыку! — сказал я. — Я сижу здесь с самым искренним намерением, каким когда-либо одушевлен был смертный, обратить зло в добро, а все идет наперекор этому благому намерению.

Против всех зол есть, по крайней мере, одно успокоительное средство, предлагаемое нам природой; я с благодарностью принял его из ее рук и уснул; первое разбудившее меня слово было: *Амьен*.

— Господи! — воскликнул я, протирая глаза, — да ведь это тот самый город, куда должна приехать бедная моя дама.

АМЬЕН

Едва произнес я эти слова, как почтовая карета графа де Л***, с его сестрой в ней, быстро прокатила мимо: дама успела только кивнуть мне — она меня узнала, — однако кивнуть особенным образом, как бы показывая, что наши отношения она не считает поконченными. Доброта ее взгляда не была обманчивой: я еще не поужинал, как в мою комнату вошел слуга ее брата с запиской, где она говорила, что берет на себя смелость снабдить меня письмом, которое я должен лично вручить мадам Р*** в первое утро, когда мне в Париже нечего будет делать. К этому было добавлено сожаление (но в силу какого *penchant*⁴⁰, она не пояснила) по поводу того, что обстоятельства ей помешали рассказать мне свою историю, но она продолжает считать себя в долгу передо мной; и если моя дорога когда-нибудь будет проходить через Брюссель и я к тому времени еще не позабуду имени мадам де Л***, то мадам де Л*** будет рада заплатить мне свой долг.

— Итак, — сказал я, — я встречусь с тобой, прелестная душа, в Брюсселе — мне стоит только вернуться из Италии через Германию и Голландию и направиться домой через Фландрис — всего десять лишних перегонов; но хотя бы и десять тысяч! Какой душеспасительной отрадой увенчается мое путешествие, приобщившись печальным перипетиям грустной повести, рассказанной мне такой страдалицей! Видеть ее плачущей! Даже если я не в состоянии осушить источник ее слез, какое все-таки утонченное удовольствие доставит мне вытираять их на щеках лучшей и красивейшей из женщин, когда я молча буду сидеть возле нее всю ночь с платком в руке.

В чувстве этом не заключалось ничего дурного, а все-таки я сейчас же упрекнул в нем мое сердце в самых горьких и резких выражениях.

Как я уже говорил читателю, одной из благодатных особенностей моей жизни является то, что почти каждую минуту я в кого-нибудь несчастливо влюблен; и когда последнее пламя мое погашено было вихрем ревности, налетевшим на меня при внезапном повороте дороги, я вновь зажег его месяца три тому назад от чистого огня Элизы — поклявшись, что оно будет гореть у меня в течение всего путешествия. — К чему таить? Я поклялся ей в вечной верности — она получила право на все мое сердце — делить свои чувства значило бы ослаблять их — выставлять их напоказ значило бы ими рисковать, а где есть риск, там возможна и потеря. — Что же ответишь ты тогда, Йорик, сердцу, столь преисполненному доверия и надежд — столь доброму, столь нежному и безупречному?

— Я не поеду в Брюссель! — воскликнул я, обрывая свои рассуждения, — но мое воображение разыгралось — я вспомнил ее взоры в ту решительную минуту нашего расставания, когда ни один из нас не нашел силы сказать «прощай!» Я взглянул на портрет, который она повесила мне на шею на черной ленточке, — и покраснел, когда увидел его, — я отдал бы целый мир, чтобы его поцеловать, но мне стало стыдно. — Неужто этот нежный цветок, — сказал я, сжимая его в руках, — будет подломлен под самый корень, — и подломлен, Йорик, тобой, обещавшим укрыть его на своей груди?

— Вечный источник счастья, — сказал я, становясь на колени, — будь моим свидетелем, — и

⁴⁰ Побуждения (франц.).

все чистые духи, тебя вкушающие, будьте и вы моими свидетелями, что я не поеду в Брюссель, если не будет вместе со мной Элизы, хотя бы дорога эта вела меня на небо.

В состоянии исступления сердце, вопреки рассудку, всегда скажет много лишнего.

ПИСЬМО АМЬЕН

Счастье не улыбалось Ла Флеру; с рыцарскими подвигами ему не повезло – и со времени поступления на службу ко мне, то есть в течение почти целых суток, ему не представилось ни одного случая проявить свое усердие. Бедняга сгорал от нетерпения, и потому с жадностью ухватился за явившегося с письмом слугу графа де Л***, который давал ему такой случай; чтобы оказать честь своему хозяину, он отвел слугу в заднюю комнату гостиницы и угостили стаканом-двумя лучшего пикардийского вина; в свою очередь, слуга графа де Л***, чтобы не остаться перед Ла Флером в долгу по части учтивости, привел его в дом графа. *Обходительность* Ла Флера (один его взгляд служил ему рекомендательным письмом) вскоре расположила к нему всю прислугу на кухне; а так как француз никогда не отказывается блеснуть своими талантами, в чем бы они ни заключались, то не прошло и пяти минут, как Ла Флер вытащил свою флейту и, с первой же ноты пустившись в пляс, увлек за собой *fille de chambre, maître d'hotel*⁴¹, повара, судомойку и всех домочадцев, собак и кошек, со старой обезьянкой в придачу: я думаю, что со времени всемирного потопа не бывало на свете такой веселой кухни.

Мадам де Л***, проходя из комнат брата к себе, услышала это шумное веселье и позвонила своей *fille de chambre* спросить, в чем дело; узнав, что это слуга английского джентльмена так распотешил своей флейтой весь дом, она велела позвать его к себе.

Бедняга никак не мог явиться с пустыми руками, и потому, поднимаясь по лестнице, он запасся тысячей комплиментов мадам де Л*** от своего господина – присоединил к ним длинный список апокрифических расспросов о здоровье мадам де Л*** – сказал ей, что месье, господин его, *au desespoir*⁴², не зная, отдохнула ли она после утомительного путешествия, – и, в довершение всего, что месье получил письмо, которое мадам соблаговолила. – И он соблаговолил, – сказала мадам де Л***, перебивая Ла Флера, – прислать мне ответ.

Мадам де Л*** сказала это таким не допускающим сомнений тоном, что у Ла Флера не хватило духу обмануть ее ожидание – он трепетал за мою честь – а возможно, был не совсем спокоен и за свою, поскольку служил у человека, способного сплоховать *en egards vis-a-vis d'une femme*⁴³. Поэтому, когда мадам де Л*** спросила Ла Флера, принес ли он письмо, – *O qu'oui*, – отвечал Ла Флер, после чего, положив шляпу на пол, ухватил левой рукой за клапан своего правого кармана и правой стал шарить в нем, отыскивая письмо, потом наоборот – *Diable!* – потом обшарил все карманы один за другим, не забыв и карманчика для часов в штанах – *Peste!* – потом Ла Флер опорожнил все карманы на пол – вытащил грязный галстук – носовой платок – гребенку – плетку – ночной колпак – потом заглянул внутрь своей шляпы – *Quelle etourderie*⁴⁴. Он оставил письмо на столе в гостинице – он сбегает за ним и через три минуты его доставит.

Я только что поужинал, когда вошел Ла Флер и представил отчет о своем приключении; он безыскусственно рассказал мне все, как было, и только прибавил, что если месье (*par hazard*)

⁴¹ Горничную, дворецкого (франц.).

⁴² В отчаянии (франц.).

⁴³ По части почтения к женщине (франц.).

⁴⁴ Какая рассеянность (франц.).

45 забыл ответить мадам на ее письмо, то счастливое стеченье обстоятельств дает ему возможность исправить этот faux pas⁴⁶, – если же нет, то пусть все остается, как было.

Признаться, я был не вполне уверен насчет требований этикета : следовало мне писать даме или не следовало; но если бы я написал – сам дьявол не мог бы рассердиться: ведь это было только горячее усердие исполненного благих намерений существа, которое пеклось о моей чести; и если бы даже Ла Флер совершил оплошность или своим поступком привел меня в замешательство – сердце его было безупречно – меня же ничто не обязывало писать – а самое главное – он совсем непохож был на человека, совершившего оплошность.

– Все это превосходно, Ла Флер, – сказал я. – Этого было достаточно. Ла Флер, как молния, вылетел из комнаты и вернулся с пером, чернилами и бумагой в руке; подойдя к столу, он разложил все это передо мной с таким сияющим видом, что я не мог не взять в руку перо.

Я начинал и снова начинал; хотя мне нечего было сказать и выразить это можно было в шести строчках, я перепробовал шесть различных начал и всеми ими остался недоволен.

Словом, я был не расположен писать.

Ла Флер снова вышел и принес немного воды в стакане, чтобы разбавить мои чернила, потом отправился за песком и сургучом. – Ничто не помогало: я писал, перечеркивал, рвал, жег и писал снова. – Le Diable l'emporte!⁴⁷ – проворчал я, – я не в состоянии написать это письмо, – и, сказав это, в отчаянии бросил перо.

Как только я это сделал, Ла Флер с почтительнейшим видом подошел к столу и, принеся тысячу извинений за смелость, которую он берет на себя, сказал, что у него в кармане есть письмо, написанное барабанщиком его полка жене капрала, которое, по его мнению, подойдет к данному случаю.

Меня заинтересовала затея бедняги. – Пожалуйста, – сказал я, – покажи.

Ла Флер мигом вытащил засаленную записную книжечку, всю набитую записочками и billets-doux⁴⁸, в печальном состоянии, положил ее на стол, распустил шнурок, которым все это было перевязано, и быстро переглядел бумажки, пока не нашел нужного письма. – La voilà!⁴⁹ – радостно проговорил он, хлопая в ладоши, после чего развернул письмо и положил передо мной, а сам отступил на три шага от стола, пока я его читал.

ПИСЬМО

Madame,

Je suis penetre de la douleur la plus vive, et reduit en meme temps au desespoir par ce retour imprevu du Corporal, qui rend notre entrevue de ce soir la chose du monde la plus impossible.

Mais vive la joie! et toute la mienne sera de penser a vous.

L'amour n'est rien sans sentiment.

Et le sentiment est encore moins sans amour.

On dit qu'on ne doit jamais se desesperer.

On dit aussi que Monsieur le Corporal monte la garde Mercredi: alors ce sera mon tour.

Chacun a son tour .

⁴⁵ Случайно (франц.).

⁴⁶ Промах (франц.).

⁴⁷ Черт его побери! (франц.).

⁴⁸ Любовными письмами (франц.).

⁴⁹ Вот оно! (франц.).

En attendant – Vive l'amour! et vive la bagatelle!
 Je suis. Madame,
 Avec toutes les sentiments les plus respectueux et les plus tendres tout à vous,
Jacques Roque *.

* Мадам, я исполнен живейшей скорби и в то же время приведен в отчаяние неожиданным возвращением капрала, которое исключает всякую возможность нашего свидания сегодня вечером.

Но да здравствует радость! И вся моя радость будет – думать о вас.
 Любовь без чувства – *ничто*.

А чувство без любви еще *меньше*, чем ничто.
 Говорят, что никогда не надо отчаиваться.

Говорят также, что господин капрал в среду вступает в караул: тогда наступит мой черед.

Каждому свой черед.
 А до тех пор – Да здравствует любовь и да здравствуют интрижки!

Остаюсь, мадам, с самыми почтительными и самыми нежными чувствами, весь ваш

Жак Рок (франц.).

Стоило только заменить капрала графом – да умолчать о вступлении в караул в среду – и письмо получалось довольно сносное. И вот, чтобы доставить удовольствие бедному парню, трепетавшему за мою и свою честь, а также за честь своего письма, – я осторожно снял с него сливки и, взбив их по своему вкусу, запечатал написанное и отоспал с Ла Флером мадам де П*** – а на следующее утро мы продолжали нашу поездку в Париж.

ПАРИЖ

Если человек способен блеснуть красивым выездом и поднять кругом суматоху посредством полудюжины лакеев и двух поваров, – это отлично действует в таком месте, как Париж, – он может вкатить в любую улицу этого города.

Но бедному монарху, у которого нет кавалерии и вся пехота которого насчитывает только одного человека, лучше всего оставить поле битвы и проявить свои способности в кабинете министров, если только он в силах *подняться к ним* – я говорю: подняться к ним, – ибо не может быть и речи о величественном нисхождении к ним со словами: «Me voici, mes enfants!» – я здесь – что бы ни думали на этот счет иные.

Признаться, первые мои ощущения, когда я остался совершенно один в отведенной мне комнате гостиницы, оказались далеко не столь обнадеживающими, как я воображал. Я чинно подошел в запыленном черном кафтане к окну и, поглядев в него, увидел, как все, от мала до велика, в желтом; синем и зеленом несутся на кольцо наслаждения. – Старики с поломанным оружием и в шлемах, лишенных забрала, – молодежь в блестящих доспехах, сверкающих, как золото, и разубранных всеми яркими перьями Востока, – все – все бросаются на него с копьями наперевес, как некогда зачарованные рыцари на турнирах бросались за славой и любовью. –

– Увы, бедный Йорик! – воскликнул я, – что тебе здесь делать? При первом же натиске всей этой сверкающей сутолоки ты обратишься в атом – ищи – ищи какой-нибудь извилистый переулок с рогаткой на конце его, по которому не проезжала ни одна повозка и который ни разу не озарялся светом факела – там можешь ты утешить душу свою сладким разговором с какой-нибудь гризеткой о жене цирюльника и проникнуть в их общество! –

– Провались я, если я это сделаю! – сказал я, доставая письмо, которое должен был передать мадам де Р*** – Я явлюсь с визитом к этой даме, вот что я сделаю прежде всего. – И, кликнув Ла Флера, я распорядился, чтобы он немедленно отыскал мне цирюльника – а затем почистил мой кафтан.

ПАРИК ПАРИЖ

Вошедший цирюльник наотрез отказался что-нибудь сделать с моим париком: это было или выше, или ниже его искусства. Мне ничего не оставалось, как взять готовый парик по его рекомендации.

– Но я боюсь, мой друг, – сказал я, – этот локон не будет держаться. – Можете погрузить его в океан, – возразил он, – Все равно он будет держаться –

Какие крупные масштабы прилагаются к каждому предмету в этом городе! – подумал я. – При самом крайнем напряжении мыслей английский парикмахер не мог бы придумать ничего больше, чем «окунуть его в ведро с водой». – Какая разница! Точно время рядом с вечностью.

Признаться, я терпеть не могу трезвых представлений, как не терплю и порождающих их убогих мыслей, и меня обыкновенно так поражают великие произведения природы, что если бы на то пошло, я никогда бы не брал для сравнения предметов меньших, чем, скажем, горы. Все, что можно возразить в данном случае против французской выспренности, сводится к тому, что величия тут больше *в словах*, чем *на деле*. Несомненно, океан наполняет ум возвышенными мыслями; однако Париж настолько удален от моря, что трудно было предположить, будто я отправлюсь за сто миль на почтовых проверять слова парижского цирюльника на опыте, – произнося их, он ничего не думал –

Ведро воды, поставленное рядом с океанскими пучинами, конечно, образует в речи довольно жалкую фигуру – но, надо сказать, оно обладает одним преимуществом – оно находится в соседней комнате, и прочность буклей можно в одну минуту проверить в нем без больших хлопот.

По честной правде и более беспристрастном исследовании дела, *французское выражение обещает больше*, чем исполняет.

Мне кажется, я способен усмотреть четкие отличительные признаки национальных характеров скорее в подобных нелепых *minutiae*⁵⁰, чем в самых важных государственных делах, когда великие люди всех национальностей говорят и ведут себя до такой степени одинаково, что я не дал бы девятипенсовика за выбор между ними.

Я так долго находился в руках цирюльника, что было слишком поздно думать о визите с письмом к мадам Р*** в этот же вечер; но когда человек с головы до ног принарядился для выхода, от его размышлений мало проку; вот почему, записав название Hotel de Modene, где я остановился, я вышел на улицу без определенной цели. – Пораздумаю об этом, – сказал я, – дорогой.

ПУЛЬС ПАРИЖ

Хвала вам, милые маленькие обыденные услуги, ибо вы облегчаете дорогу жизни! Подобно грации и красоте, с первого же взгляда зарождающих расположение к любви, вы открываете двери в ее царство и впускаете туда чужеземца.

– Пожалуйста, мадам, – сказал я, – будьте добры указать, где мне повернуть, чтобы пройти к Opera comique⁵¹, – С большим удовольствием, мосье, – отвечала она, откладывая свою работу.

По пути я заглянул в десяток лавок, высматривая лицо, которого не потревожило бы мое нескромное обращение; наконец лицо этой женщины мне приглянулось, и я вошел.

Она вязала кружевные рукавчики, сидя на низенькой скамеечке в глубине лавки, против

⁵⁰ Мелочах (лат.).

⁵¹ Комическая опера (франц.).

двери –

– Tres volontiers – с большим удовольствием, – сказала она, складывая свою работу на стоявший рядом стул и поднимаясь с низенькой скамеечки, на которой она сидела, таким проворным движением и с таким приветливым взглядом, что, издержи я у нее пятьдесят луидоров, я все-таки сказал бы: «Эта женщина восхитительна!»

– Вам надо повернуть, мосье, – сказала она, подходя со мной к дверям лавки и показывая переулок внизу, по которому я должен был пойти, – вам надо повернуть сперва налево – mais prenez garde⁵² – там два переулка; так, будьте добры, поверните во второй – затем спуститесь немного вниз, и вы увидите церковь, а когда ее минуете, потрудитесь сразу повернуть направо, и эта улица приведет вас к Pont Neuf⁵³, который вам надо будет перейти – а там каждый с удовольствием вам покажет. –

Она трижды повторила свои указания – с тем же благодушным терпением в третий раз, что и в первый, – и если *тон и манеры* имеют некоторое значение, – а они его, несомненно, имеют и лишены только для глухих к ним сердец, – то она, по-видимому, была искренне озабочена тем, чтобы я не заблудился.

Не хочу думать, что красота этой женщины (хотя, по-моему, она была прелестнейшей гризеткой, которую я когда-либо видел) повлияла на впечатление, оставленное во мне ее любезностью; помню только, что, говоря, как много я ей обязан, я смотрел ей слишком прямо в глаза – и что я поблагодарил ее столько же раз, сколько раз она повторила свои указания.

Не отошел я и десяти шагов от лавки, как обнаружил, что забыл до последнего слова все сказанное ею, – вот почему, оглянувшись и увидя, что она все еще стоит на пороге, как бы желая убедиться, правильной ли дорогой я пошел, – я вернулся к ней, чтобы спросить, надо ли мне повернуть сперва направо или сперва налево – так как я совершенно забыл. – Возможно ли! – сказала она, смеясь. – Очень даже возможно, отвечал я, – когда мужчина больше думает о женщине, чем о ее добром совете.

Так как это была сущая правда – то она приняла ее, как принимает должное каждая женщина, с легким реверансом.

– Attendez!⁵⁴ – сказала она, положив руку мне на плечо, чтобы удержать меня, а в это время подозвала мальчика из задней комнаты и велела ему приготовить сверток перчаток. – Я как раз собираюсь, – сказала она, – послать его с пакетом в тот квартал; и если вы будете так любезны зайти, все мигом будет готово, и он проводит вас до места. – Я вошел с ней в лавку и взял оставленный ею на стуле рукавчик, как бы с намерением освободить место и сесть; когда же она опустилась на свою низенькую скамейку, я немедленно занял место рядом с ней.

– Через минуту он будет готов, мосье, – сказала она. – Как бы мне хотелось, – отвечал я, – сказать вам в эту минуту что-нибудь очень приятное за все ваши милые услуги. Случайную услугу способен оказать каждый, но когда одна услуга следует за другой, это уже свидетельствует о теплоте сердца; и бесспорно, – добавил я, – если кровь, вытекающая из сердца, та же самая, что достигает конечностей (тут я коснулся ее запястья), то я уверен, что у вас лучший пульс, какой когда-либо бывал у женщины. – Пощупайте, – сказала она, протягивая руку. Я отложил шляпу и взял ее одной рукой за пальцы, а два пальца другой руки положил ей на артерию –

– Вот славно было бы, дорогой Евгений, если бы ты прошел мимо и увидел, как я, разнежившись, сижу в черном кафтане и считаю один за другим удары пульса с таким благоговейным вниманием, точно подстерегаю критический отлив или прилив ее лихорадки! – Как бы ты посмеялся и поиронизировал над моей новой профессией! – А тебе было бы над чем

⁵² Но будьте внимательны (франц.).

⁵³ Новый мост (франц.).

⁵⁴ Подождите! (франц.).

посмеяться и над чем поиронизировать. – Поверь, дорогой Евгений, – сказал бы я тебе, – "на свете есть занятия похуже, чем *щупать пульс у женщины*". – Но пульс гризетки! – ответил бы ты, – да еще в открытой лавке! Ах, Йорик –

– Тем лучше! Ведь если мои намерения открыты, Евгений, мне все равно, хотя бы целый мир смотрел, как я это делаю.

МУЖ ПАРИЖ

Я насчитал двадцать ударов и уже близился к сороковому, как неожиданно вошедший из задней комнаты муж немного сбил меня со счета. – Ничего, это только ее муж, сказала она, – так что я начал новый десяток. – Мосье так добр, сказала она мужу, когда тот проходил мимо нас, – что взял на себя труд послушать мой пульс. – Муж снял шляпу и, поклонившись мне, сказал, что я делаю ему слишком много чести, – сказав это, он надел шляпу и вышел.

Праведный боже, – сказал я себе, когда он вышел, – и может же такой человек быть мужем такой женщины!

Пусть не посетуют на меня немногие, которым понятны причины моего восклицания, если я объясню его тем, кому они непонятны.

В Лондоне жена лавочника кажется плотью от плоти и костью от кости своего мужа; в отношении различных природных способностей, как душевных, так и телесных, преимущество принадлежит иногда мужу, иногда жене, но в общем они бывают ровней и соответствуют друг другу в той степени, в какой это нужно для мужа и жены.

В Париже, напротив, едва ли найдется два разряда более различных существ: ведь, поскольку законодательная и исполнительная власть в лавке зиждется не на муже, он редко там показывается – где-нибудь в темной и унылой задней комнате сидит он, ни с кем не знаясь, в ночном колпаке с кисточкой, такой же неотесанный сын Природы, каким Природа произвела его.

Так как гений народа, у которого только монархия основана на *салическом* законе, предоставил эту отрасль, наряду с разными другими, в полновластное распоряжение женщин, – то в непрерывном торге с покупателями всех званий и положений с утра до ночи они, подобно грубым камушкам, долго перетряхиваемым в мешке, стирают в дружеских препирательствах все свои шероховатости и острые углы и не только становятся круглыми и гладкими, но иные из них приобретают еще и блеск, как бриллианты, – между тем как мосье *le Mari*⁵⁵ немногим лучше булыжника, на который выступаете –

– Право же – право, человек! не добро тебе сидеть одному – ты создан был для общительности и дружественных приветствий, в доказательство чего я ссылаюсь на последовавшее от них улучшение природных наших качеств.

– Ну, как он бьется, мосье? – спросила она. – Со всей благоприятностью, – отвечал я, спокойно глядя ей в глаза, – которой я ожидал. – Она собиралась сказать в ответ какую-то любезность, но в лавку вошел мальчик с перчатками. – А propos⁵⁶, – сказал я, – мне самому нужны две пары.

ПЕРЧАТКИ ПАРИЖ

Когда я это сказал, прекрасная гризетка поднялась, прошла за прилавок, достала пакет и развязала его; я подошел к противоположной стороне прилавка: все перчатки были велики.

⁵⁵ Муж (франц.).

⁵⁶ Кстати (франц.).

Прекрасная гризетка прикидывала их, пару за парой, к моей руке – размеры их от этого не менялись. – Она попросила меня надеть одну пару, с виду наименьшую. – Она расстегнула одну перчатку и подставила мне – моя рука в один миг проскользнула в нее. – Не подойдет, – сказал я, покачав головой. – Нет, не подойдет, – сказала она, тоже покачав головой.

Бывают такие встречные взгляды, исполненные невинного лукавства – где прихоть, рассудительность, серьезность и плутовство так перемешаны, что все языки вавилонского столпотворения, вместе взятые, не могли бы их выразить – они передаются и схватываются столь молниеносно, что вы почти не в состоянии сказать, которая из сторон является источником заразы. Предоставляю людям, которые за словом в карман не лезут, испытывать на эту тему страницы, – сейчас довольно будет снова сказать, что перчатки не желали подходить; скрестив руки, мы оба облокотились о прилавок – он был узенький, так что между нами мог поместиться только сверток перчаток.

Прекрасная гризетка по временам бросала взгляд на перчатки, потом в сторону, на окно, потом на перчатки – и потом на меня. Я был не расположен нарушать молчание – я последовал ее примеру: взглянул на перчатки, потом на окно, потом на перчатки и потом на нее – и так далее, попеременно.

Я заметил, что при каждой атаке несу значительный урон – у нее были живые черные глаза, и она стреляла ими сквозь длинные шелковые ресницы с таким проникновением, что взоры ее западали мне в самое сердце, в самое нутро. – Может показаться странным, но у меня действительно было такое ощущение –

– Нужды нет, – сказал я, взял лежавшие возле меня две пары и сунув их в карман.

Я был убежден, что прекрасная гризетка запросила с меня не больше одного ливра сверх положенной цены, – мне захотелось, чтобы она спросила еще ливр, и я ломал голову, как бы это устроить. – Неужели вы думаете, милостивый государь, – сказала она, неверно истолковав мое замешательство, – что я способна запросить лишнее су с иностранца – и притом с иностранца, который больше из вежливости, чем нуждаясь в перчатках, сделал мне честь, доверившись мне? M'en croyez capable?⁵⁷ – Клянусь вам, нет! – сказал я. – Но если бы вы и были на это способны, вы бы только доставили мне удовольствие. – С этими словами, отсчитав ей денег в руку и поклонившись ниже, чем принято кланяться женам лавочников, я удалился, и ее мальчик с пакетом последовал за мной.

ПЕРЕВОД ПАРИЖ

В ложе, куда меня впустили, не было никого, кроме старого приветливого французского офицера. Я люблю этот тип; не только потому, что уважаю человека, манеры которого облагорожены профессией, делающей дурных людей еще худшими, но и потому, что когда-то знал одного – его уже нет! – Отчего не спасти мне одну страницу от поругания, написав на ней имя его и поведав миру, что то был капитан Тобайас Шенди, самый любезный мне из моих друзей и моей паства, при мысли о человеколюбии которого, через столько лет после его смерти, глаза мои неизменно наполняются слезами? Ради него я питают пристрастие ко всему сословию ветеранов; итак, перешагнув через два задних ряда скамеек, я поместился возле него.

Старый офицер внимательно читал какую-то книжечку (может быть, либретто оперы), вооружившись, большими очками. Как только я сел, он снял очки и, положив их в футляр из шагреневой кожи, спрятал вместе с книжкой в карман. Я привстал и поклонился ему.

Переведите это на любой из языков цивилизованного мира – и смысл получится такой: «Вот вошел в ложу бедный иностранец – с виду он как будто ни с кем не знаком, да вероятно ни с кем и не познакомится, проведи он хотя бы семь лет в Париже, если всякий, к кому он подходит, будет держать очки на носу – ведь это значит нагло запирать перед ним дверь

⁵⁷ Вы меня считаете на это способной? (франц.).

дружеского разговора и обращаться с ним хуже, чем с немцем».

Французский офицер мог бы отлично сказать все это вслух, и тогда я бы, конечно, тоже перевел сделанный ему поклон на французский язык и сказал ему: «Я тронут его вниманием и приношу ему за него тысячу благодарностей».

Нет тайны, столь способствующей прогрессу общительности, как овладение искусством этой *стенографии*, как уменье быстро переводить в ясные слова разнообразные взгляды и телодвижения со всеми их оттенками и рисунками. Лично я вследствие долгой привычки делаю это так механически, что, гуляя по лондонским улицам, всю дорогу занимаюсь таким переводом; не раз случалось мне, постояв немного возле кружка, где не было сказано и трех слов, вынести оттуда с собой десятка два различных диалогов, которые я мог бы в точности записать, поклявшись, что ничего в них не сочинил.

Однажды вечером в Милане я отправился на концерт Мартини и уже входил в двери зала как раз в тот миг, когда оттуда выходила с некоторой поспешностью маркезина де Ф*** – она почти налетела на меня, прежде чем я ее заметил, и я отскочил в сторону, чтобы дать ей пройти. Она тоже отскочила, и в ту же сторону, вследствие чего мы стукнулись лбами; она моментально бросилась в другую сторону, чтобы выйти из дверей; я оказался столь же несчастлив, как и она, потому что прыгнул в ту же сторону и снова загородил ей проход. – Мы вместе кинулись в другую сторону, потом обратно – и так далее – потеха, да и только; мы оба страшно покраснели; наконец я сделал то, что должен был сделать с самого начала – стал неподвижно, и маркезина прошла без труда. Я не нашел в себе силы войти в зал, пока не дал ей удовлетворения, состоявшего в том, чтобы подождать и проводить ее глазами до конца коридора. – Она дважды оглянулась и все время шла сторонкой, точно желая пропустить кого-то, поднимавшегося навстречу ей на лестнице. – Нет, – сказал я, – это дрянной перевод: маркезина имеет право на самые пылкие извинения, какие только я могу принести ей; и свободное место оставлено ею для меня, чтобы, заняв его, я это сделал. – Вот почему я побежал к ней, и попросил прощения за причиненное беспокойство, сказав, что я намеревался лишь уступить ей дорогу. Она ответила, что руководилась тем же намерением по отношению ко мне – так что мы взаимно поблагодарили друг друга. Она стояла на верхнем конце лестницы; не видя возле нее чичисбея, я попросил разрешения проводить ее до кареты. – Так спустились мы по лестнице, останавливаясь на каждой третьей ступеньке, чтобы поговорить о концерте и о нашем приключении. – Честное слово, мадам, – сказал я, усадив ее в карету, – я шесть раз подряд пытался выпустить вас. – А я шесть раз пыталась впустить вас, – отвечала она. – О, если бы небо внушило вам желание попытаться в седьмой раз! – сказал я. – Сделайте одолжение, – сказала она, освобождая место возле себя. – Жизнь слишком коротка, чтобы долго возиться с ее условностями, – поэтому я мигом вскочил в карету, и моя соседка повезла меня к себе домой. – А что стало с концертом, о том лучше меня знает святая Цецилия, которая, я полагаю, была на нем.

Прибавлю только, что знакомство, возникшее благодаря этому переводу, доставило мне больше удовольствия, чем все другие знакомства, которые я имел честь завязать в Италии.

КАРЛИК ПАРИЖ

Никогда в жизни ни от кого не слышал я этого замечания, – Нет, раз слышал, от кого – это, вероятно, обнаружится в настоящей главе; значит, поскольку я почти вовсе не был предубежден, должны были существовать причины, чтобы поразить мое внимание, когда я взглянул на *партер*, – то была непостижимая игра природы, создавшей такое множество карликов. – Без сомнения, природа по временам забавляется почти в каждом уголке земного шара; но в Париже конца нет ее забавам – шаловливость богини кажется почти равной ее мудрости.

Унеся с собой ^этую мысль по выходе из *Opera comique*, я мерил каждого встречного на улицах. – Грустное занятие! Особенно когда рост бывал крохотный, – лицо исключительно

смуглые – глаза живые – нос длинный – зубы белые – подбородок выдающийся, – видеть такое множество несчастных, выброшенных из разряда себе подобных существ на самую границу другого – мне больно писать об этом – каждый третий человек – пигмей! – у одних рахитичные головы и горбы на спинах – у других кривые ноги – третьи рукою природы остановлены в росте на шестом или седьмом году – четвертые в совершенном и нормальном своем состоянии подобны карликовым яблоням; от самого рождения и появления первых проблесков жизни им положено выше не расти.

Путешественник-медик мог бы сказать, что это объясняется неправильным пеленанием, – желчный путешественник сослался бы на недостаток воздуха, – а пытливый путешественник в подкрепление этой теории стал бы измерять высоту их домов – ничтожную ширину их улиц, а также подсчитывать, на каком малом числе квадратных футов в шестых и седьмых этажах совместно едят и спят большие семьи буржуазии; но я помню, как мистер Шенди-старший, который все объяснял иначе, чем другие, разговорившись однажды вечером на эту тему, утверждал, что дети, подобно другим животным, могут быть выращены почти до любых размеров, лишь бы только они правильно являлись на свет; но горе в том, что парижские граждане живут чрезвычайно скученно, и им буквально негде производить детей. – По-моему, это не значит что-то произвести, – сказал он, – это все равно что ничего не произвести. – Больше того, – продолжал он, вставая в пылу спора, – это хуже, чем не произвести ничего, если ваше произведение, после затраты на него в течение двадцати или двадцати пяти лет нежнейших забот и отборной пищи, в заключение окажется ростом мне по колени. – А так как мистер Шенди был росту очень маленького, то к этому больше нечего добавить.

Я не занимаюсь научными изысканиями, а только передаю то, что услышал, довольствуясь истиной этого замечания, подтверждаемой в каждой парижской уличке и переулке. Раз я шел по той, что ведет от Карузель к Пале-Роялю, и, увидев маленького мальчика в затруднительном положении на краю канавы, проведенной посередине улицы, взял его за руку и помог ему перейти. Но когда после переправы я поднял ему голову, чтобы взглянуть в лицо, то обнаружил, что мальчику лет сорок. – Ничего, – сказал я, – какой-нибудь добрый дяденька сделает то же для меня, когда мне будет девяносто.

Во мне есть кое-какие правила, побуждающие меня относиться с участием к этой бедной искалеченной части моих близких, не наделенных ни ростом, ни силой для преуспеяния в жизни. – Я не переношу, когда на моих глазах жестоко обращаются с кем-нибудь из них; но только что я сел рядом со старым французским офицером, как с отвращением увидел, что это как раз и происходит под нашей ложей.

На краю кресел, между ними и первой боковой ложей, оставлена небольшая площадка, на которой, когда театр полон, находят себе приют люди всякого звания. Хотя вы стоите, как в партере, вы платите столько же, как за место в креслах. Одно бедное беззащитное создание, из тех, о которых я веду речь, каким-то образом оказалось втиснутым на это злополучное место, – стояла духота, и оно окружено было существами на два с половиной фута выше его. Карлика беспощадно зажали со всех сторон, но больше всего мешал ему высокий дородный немец, футов семи ростом, который торчал прямо перед ним и не давал никакой возможности увидеть сцену или актеров. Бедный карлик ловчился изо всех сил, чтобы взглянуть хоть одним глазком на то, что происходило впереди, выискивая какую-нибудь щелочку между рукой немца и его туловищем, пробуя то с одного бока, то с другого; но немец стоял стеной в самой неуступчивой позе, какую только можно вообразить, – карлик чувствовал бы себя не хуже, оказавшись на дне самого глубокого парижского колодца, откуда тянут ведро на веревке; поэтому он вежливо тронул немца за рукав и пожаловался ему на свою беду. – Немец обернулся, поглядел на карлика сверху вниз, как Голиаф на Давида, – и безжалостно стал в прежнюю позу. Как раз в это время я брал щепотку табаку из роговой табакерки моего приятеля монаха. – О, как бы ты, со своей кротостью и учтивостью, мой милый монах! столь приученный *сносить и терпеть!* – как ласково склонил бы ты ухо к жалобе этой бедной души!

Мой сосед, старенький французский офицер, увидев, как я с волнением поднял глаза при этом обращении, взял на себя смелость спросить, в чем дело. – Я в трех словах рассказал ему о

случившемся, прибавив, как это бесчеловечно.

Тем временем карлик дошел до крайности и в первом порыве бешенства, который обыкновенно бывает безрассудным, пригрозил немцу, что отрежет ножом его длинную косу. – Немец обернулся и с невозмутимым видом сказал карлику, пусть сделает одолжение, если только он до нее дастанет.

Оскорбление, приправленное издевательством, кто бы ни был его жертвой, возмущает каждого, в ком есть чувство: я готов был выскочить из ложи, чтобы положить конец этому бесчинству. – Старенький французский офицер сделал это гораздо проще и спокойнее: перегнувшись немного через барьер, он кивнул часовому и при этом показал пальцем на непорядок – часовей сейчас же двинулся в том направлении. – Карлику не понадобилось излагать свою жалобу – дело само за себя говорило; мигом оттолкнув немца мушкетом, часовей взял бедного карлика за руку и поставил его перед немцем. – Вот это благородно! – сказал я, хлопая в ладоши. – А все-таки, – сказал старый офицер, – вы бы этого не позволили в Англии.

– В Англии, милостивый государь, – сказал я, – мы все рассаживаемся удобно.

Будь я в разладе с собой, старый французский офицер восстановил бы во мне душевную гармонию, – тем, что назвал мой ответ *bon mot*, – а так как *bon mot* всегда чего-нибудь стоит в Париже, он предложил мне щепотку табаку.

РОЗА ПАРИЖ

Теперь пришла моя очередь спросить старого французского офицера: «В чем дело?» – ибо возглас «*Haussez les maine, Monsieur l'Abbe!*»⁵⁸, раздавшийся из десяти различных мест партера, был для меня столь же непонятен, как мое обращение к монаху было непонятно для офицера.

Он сказал мне, что возглас этот относится к какому-нибудь бедному аббату в одной из верхних лож, который, по его мнению, притаился за двумя гризетками, чтобы послушать оперу; а партер, высмотрев его, требует, чтобы во время представления он держал обе руки поднятыми кверху. – Разве можно предположить, – сказал я, – чтобы духовное лицо залезло в карман к гризетке? – Старый французский офицер улыбнулся и, пошептав мне на ухо, открыл двери тайн, о которых я не имел понятия –

– Праведный боже! – сказал я, побледнев от изумления, – возможно ли, чтобы столь тонко чувствующий народ был в то же время столь неопрятен и столь непохож на себя! – *Quelle grossierete!*⁵⁹ – добавил я.

Французский офицер пояснил мне, что это грубоватая насмешка над церковью; она берет начало в театре в те времена, когда Мольер поставил на сцену «Гартюфа», – но, подобно другим остаткам готических нравов, теперь выходит из употребления. – У каждого народа, – продолжал он, – есть утонченные манеры и *grossieretes*, в которых им поочередно принадлежит первенствующая роль, переходящая от одних к другим, – он побывал во многих странах, но среди них не было такой, где он не нашел бы некоторых тонкостей, в других как будто отсутствующих. *Le Pour et le Contre se trouvent en chaque nation*⁶⁰; хорошее и худое, – сказал он, – повсюду пребывают в некотором равновесии, и только знание, что дело обстоит именно так, может освободить одну половину человечества от предубеждений, которые она питает

⁵⁸ Поднимите руки, господин аббат! (франц.).

⁵⁹ Какая грубыость! (франц.).

⁶⁰ У каждой нации находятся свои «за» и «против» (франц.).

против другой половины. – Польза путешествия в отношении *savoir vivre*⁶¹ заключается в том, что оно позволяет увидеть великое множество людей и обычаев; оно учит нас взаимной терпимости; а взаимная терпимость, – заключил он с поклоном в мою сторону, – учит нас взаимной любви.

Старый французский офицер произнес это с такой прямотой и так дельно, что во мне сильно укрепилось первоначальное благоприятное впечатление от него – я вообразил, что люблю этого человека; но боюсь, я ошибся насчет предмета моих чувств – им был мой собственный образ мыслей, но только с тем различием, что я бы не мог и в половину так хорошо его выразить.

И для всадника и для его коня одинаково неудобно, если последний идет, прядя ушами и всю дорогу вздрагивая перед предметами, которых он никогда раньше не видел. – Хотя мучения этого рода мне свойственны меньше, чем кому-нибудь, все-таки я честно признаюсь, что многие вещи действовали на меня болезненно и что в первый месяц я краснел от многих слов – которые потом находил безобидными и совершенно невинными.

Мадам де Рамбуайе после шестинедельного знакомства со мной удостоила меня чести прокатить в своей карете за город. – Мадам де Рамбуайе приличнейшая из всех женщин, и я не думаю, чтобы мне случилось когда-нибудь встретить женщину более добродетельную и более чистую сердцем. – На обратном пути мадам де Рамбуайе попросила меня дернуть шнурок. – Я спросил, не хочет ли она чего. – *Rien que pisser*, – сказала мадам де Рамбуайе. –

– Не посетуй, благовоспитанный путешественник, на мадам де Рамбуайе за то, что она сошла п..... – И вы, прелестные, таинственные нимфы, ступайте каждая *сорвать свою розу*, и разбросайте их по пути, – ведь мадам де Рамбуайе не сделала ничего больше. – Я помог мадам де Рамбуайе выйти из кареты, и, будь я даже, жрецом целомудренной *Касталии*, я не мог бы с большим благоговением совершить службу у ее источника.

ПАРИЖ

Сказанное старым французским офицером о путешествиях привело мне на память совет Полония сыну на тот же предмет – совет Полония напомнил мне «Гамлет», а «Гамлет» остальные пьесы Шекспира, так что по дороге домой я остановился на набережной Конти купить все собрание сочинений этого писателя.

Книгопродаец сказал, что у него нет его и в помине. – *Comment!*⁶² – сказал я, вынимая том из собрания, лежавшего на прилавке между нами. – Он ответил, что книги эти присланы ему только для того, чтобы их переплести, и завтра утром он должен отослать их обратно в Версаль графу де Б****. – Разве граф де Б****? – сказал я, – читает Шекспира? – *C'est un esprit fort*⁶³, – отвечал книгопродаец. – Он любит английские книги и, что делает ему еще больше чести, мосье, он любит также англичан. – Любезность ваша, – сказал я, – прямо обязывает англичан истратить один или два луидора в вашей лавке. – Книгопродаец поклонился и собирался что-то сказать, как в лавку вошла молодая благопристойная девушка лет двадцати, по внешнему виду и платью *fille de chambre*⁶⁴ какой-нибудь набожной светской дамы; она спросила *«Les egarements du coeur et de l'esprit»*. Книгопродаец немедленно дал ей эту книгу; девушка вынула зеленый атласный кошелек, перевязанный лентой такого же цвета, и, засунув в него большой и указательный пальцы, достала деньги и заплатила. Так как мне больше нечего

⁶¹ Умение жить (франц.).

⁶² Как! (франц.).

⁶³ Это вольнодумец (франц.).

⁶⁴ Горничная (франц.).

было делать в лавке, то мы вместе вышли на улицу.

– На что вам понадобились, милая, – сказал я, – *Заблуждения сердца*, ведь вы, должно быть, еще даже не знаете, что оно у вас есть? Пока тебе не сказала о нем любовь или пока не сделал ему больно какой-нибудь вероломный пастушок, ты не можешь быть уверена в его существовании. – *Le Dieu m'en garde!*⁶⁵ – сказала девушка. – Правильно, – отвечал я, – потому что, если сердце у тебя доброе, жаль будет, если его украдут: оно – твое маленькое сокровище и придает лицу твоему больше красы, чем жемчуга, которые ты бы надела на себя.

Молодая девушка слушала с покорным вниманием, держа все время за ленту атласный кошелек. – Какой он маленький, – сказал я, подхватывая кошелек за донышко – она протянула его ко мне, – и в нем очень немного, моя милая, – сказал я, – но если ты будешь настолько же доброй, насколько ты пригожа, небо наполнит его. – В руке моей было зажато несколько крон на покупку Шекспира; так как девушка совсем выпустила кошелек, я сунул в него одну крону и, завязав ленту бантиком, вернул ей.

Молодая девушка сделала мне реверанс не столько глубокий, сколько почтительный, – то было одно из тех молчаливых, полных признательности приседаний, в которых сама душа преклоняется – тело же только дает знать об этом. Ни разу в жизни не получал я и половины такого удовольствия, даря какой-нибудь девушке корону,

– Совет мой, милая, не стоил бы ломаного гроша, – сказал я, – не присоедини я к нему этой монеты; но теперь вы будете вспоминать о нем при каждом взгляде на корону, – не тратьте же ее, милая, на ленты.

– Честное слово, сэр, – серьезным тоном сказала девушка, – я на это не способна. – Сказав это, она, как принято в маленьких сделках на честное слово, протянула мне руку. – *En verite, Monsieur, je mettrai cet argent a part*⁶⁶, – проговорила она.

Когда между мужчиной и женщиной заключен целомудренный договор, он санкционирует самые интимные их прогулки; поэтому, хотя уже стемнело, мы без всякого смущения пошли вместе по набережной Конти под тем предлогом, что дороги наши лежали в одну сторону.

Она вторично сделала мне реверанс, перед тем как тронуться в путь, но не отошли мы и двадцати ярдов от дверей лавки, как моя спутница, словно ей все еще было мало сделанного, на минуточку остановилась, чтобы еще раз меня поблагодарить.

– То была скромная дань, – отвечал я, – невольно принесенная мной добродетели, и ни за что на свете я не хотел бы ошибиться относительно женщины, которой я ее воздал, – но я вижу невинность на вашем лице, дорогая, – и да падет позор на того, кто расставит когда-нибудь сети на ее пути!

Девушка, по-видимому, была так или иначе тронута тем, что я сказал, – она глубоко вздохнула – я счел себя не вправе расспрашивать о причине ее вздоха – поэтому не сказал ни слова, пока не дошел до угла Неверской улицы, где мы должны были расстаться.

– Точно ли этим путем можно пройти до гостиницы Модена, милая? – спросил я. Она ответила, что можно – или же можно пойти по улице Генего, на которую я сверну за ближайшим углом. – Так я пойду, милая, по улице Генего, – сказал я, – по двум причинам: во-первых, это мне самому доставит удовольствие, а потом, и вам позволит дольше идти под моей защитой. – Девушка была тронута моей учтивостью – и сказала, что ей было бы очень приятно, если бы гостиница Модена находилась на улице Святого Петра. – Вы там живете? – спросил я. – Девушка ответила, что она *fille de chambre* у мадам Р***. – Праведный боже, – воскликнул я, – да ведь это та самая дама, которой я привез письмо из Амьена! – Девушка сказала, что мадам Р***, кажется, действительно ждет иностранца с письмом и очень хочет поскорее его увидеть, – тогда я попросил ее передать от меня поклон мадам Р*** и сказать, что

⁶⁵ Боже меня сохрани от этого! (франц.).

⁶⁶ Право, сударь, я отложу эти деньги (франц.).

я обязательно приду к ней с визитом завтра утром.

Мы все время стояли на углу Неверской улицы, пока шел этот разговор. – Потом я еще на минутку остановился, чтобы дать моей спутнице возможность распорядиться с Egarements du coeur etc. удобнее, – чем нести их в руке, – сочинение это было в двух томах; я подержал второй, пока она засовывала первый себе в карман; после этого она подставила карман, и я засунул в него второй вслед за первым.

Сладко ощущать, какими тоненькими нитями связываются наши взаимные чувства.

Мы снова тронулись в путь, и, сделав третий шаг, девушка взяла меня под руку – я только что хотел ей предложить – но она сделала это сама с той неразумывающей простотой, которая показывала, как мало она озабочена тем, что никогда раньше меня не видела. Я же почувствовал такое твердое убеждение в нашем кровном родстве, что невольно повернулся, чтобы взглянуть на ее лицо и увидеть, не могу ли я обнаружить на нем какую-нибудь черту семейного сходства. – Чего там! – сказал я. – Разве мы все не родственники?

Когда мы дошли до поворота на улицу Генего, я остановился, чтобы попрощаться с ней всерьез. Девушка снова поблагодарила меня за то, что я ее проводил и был с нею так добр. – Она дважды со мной попрощалась – столько же раз попрощался и я с ней, и прощание наше было так задушевно, что, происходи оно где-нибудь в другом месте, я не поручусь, что не запечатлел бы его поцелуем христианской любви, теплым и святым, как поцелуй апостола.

Но так как в Париже целуются только мужчины – то я сделал вещь равнозначную –

– Я от души пожелал, чтобы бог благословил ее.

ПАСПОРТ ПАРИЖ

Когда я вернулся в гостиницу, Ла Флер сказал, что обо мнеправлялся лейтенант полиции. – Черт побери! – сказал я, – я знаю почему. – Пора осведомить об этом также и читателя, потому что в том порядке, как происходили события, я обошел этот случай молчанием; не то чтобы он выпал у меня из памяти, но если бы я рассказал о нем тогда, он был бы, вероятно, теперь позабыт – а как раз теперь он мне нужен.

Я так спешил, уезжая из Лондона, что мне ни разу не пришла на ум война, которую мы тогда вели с Францией; только приехав в Дувр и разглядывая в подзорную трубу холмы за Булонью, я о ней вспомнил, а в связи с ней о том, что во Францию нельзя являться без паспорта. Когда я дохожу хотя бы только до конца улицы, мне до смерти бывает противно возвращаться назад ничуть не более умным, чем я был, отправляясь в путь; а так как настоящая поездка была величайшим моим усилием ради приобретения знаний, то мысль о возвращении была для меня тем более невыносима; вот почему, прослышиав, что граф де *** нанял пакетбот, я попросил его взять меня в свою свиту. Граф немного меня знал и потому согласился почти без всяких затруднений – сказал только, что его готовность служить мне не может простираться дальше Кале, так как он намерен вернуться в Париж через Брюссель; впрочем, самое важное переправиться через Ла-Манш, а там уж я без помехи доеду до Парижа; но только в Париже мне надо будет приобрести друзей и изворачиваться самому. – Дайте мне только добраться до Парижа, господин граф, – сказал я, – и я устроюсь великолепно. – Так я сел на корабль и больше не думал об этом деле.

Когда же Ла Флер сказал, что обо мнеправлялся лейтенант полиции, – вся история мгновенно ожила в моей памяти – и в то время как Ла Флер обстоятельно мне докладывал, в комнату вошел хозяин гостиницы сказать мне то же самое, с тем лишь добавлением, что главным образом осведомлялись о моем паспорте. – Надеюсь, он у вас есть, – такими словами закончил свою речь хозяин гостиницы. – Честное слово, нет! – сказал я.

Когда я это объявил, хозяин гостиницы отступил от меня на три шага, как от зачумленного, – а бедный Ла Флер, напротив, приблизился ко мне на три шага тем движением, каким добрая душа прибегает на помочь человеку, с которым приключилось несчастье, – парень покорил им мое сердце; по одной этой черте я так основательно узнал его характер и

мог так твердо на него положиться, как если бы он верой и правдой служил мне семь лет.

— Mon Seigneur! ⁶⁷ — воскликнул хозяин гостиницы, но, опомнясь при этом возгласе, сейчас же переменил тон. — Если у мосье, — сказал он, — (apparement) ⁶⁸ нет паспорта, то, по всей вероятности, у него есть друзья в Париже, которые могут ему достать этот документ. — Нет, я никого не знаю, — отвечал я с равнодушным видом. — Так вас, certes ⁶⁹, — сказал он, — отправят в Бастилию или в Шатле, au moins ⁷⁰. — Ба! — сказал я, — французский король — добрая душа, он никому не сделает зла. — Cela n'empeche pas ⁷¹, — сказал он, — вас непременно отправят завтра утром в Бастилию! — Однако я снял у вас помещение на месяц, — отвечал я, — и ни для каких французских королей на свете не освобожу его даже за день до срока. — Ла Флер шепнул мне на ухо, что никто не может противиться французскому королю.

— Pardi! — сказал хозяин, — ces Messieurs Anglais sont des gens tres extraordinaires ⁷², — сказав это и утвердив клятвой, он вышел вон,

ПАСПОРТ ПАРИЖСКАЯ ГОСТИНИЦА

Я не нашел в себе мужества расстроить Ла Флера серьезным отношением к постигшей меня неприятности, почему и разговаривал о ней так пренебрежительно; а чтобы показать ему, как мало я придаю значения этому делу, я вовсе перестал им заниматься и, когда Ла Флер прислуживал мне за ужином, с преувеличенной веселостью заговорил с ним о Париже и об Опера comique. — Ла Флер тоже был там и шел за мной по улицам до лавки книгопродавца; однако, увидя, что я вышел оттуда с молоденькой fille de chambre и что мы направились вместе по набережной Конти, Ла Флер счел излишним сделать еще хотя бы шаг за мной, — по некотором размышлении он избрал более короткий путь — и, явившись в гостиницу, успел разузнать о деле, начатом полицией по поводу моего приезда.

Но когда этот честный малый убрал со стола и пошел вниз ужинать, я начал немного серьезнее раздумывать о своем положении. —

— Я знаю, ты улыбнешься, Евгений, вспомнив о коротеньком диалоге, который произошел между нами перед самым моим отъездом, — я должен привести его здесь.

Евгений, зная, что я обыкновенно так же мало бываю обременен деньгами, как и благородствием, отвел меня в сторону и спросил, сколько я припас в дорогу; когда я назвал ему сумму, Евгений покачал головой и сказал, что этого будет мало, после чего достал кошелек, чтобы опорожнить его в мой. — Право же, Евгений, для меня будет довольно, — сказал я. — Право же, Йорик, будет мало, — возразил Евгений, — я лучше вашего знаю Францию и Италию. — Но вы упускаете из виду, Евгений, — сказал я, отклоняя его предложение, — что не проведу я в Париже и трех дней, как непременно скажу или сделаю что-нибудь такое, за что меня упрянут в Бастилию, где я месяца два проживу на полном содержании французского короля. — Простите, — сухо сказал Евгений, — я действительно позабыл об этом источнике

⁶⁷ Господи! (франц.).

⁶⁸ По-видимому (франц.).

⁶⁹ Конечно (франц.).

⁷⁰ По крайней мере (франц.).

⁷¹ Это ничего не значит (франц.).

⁷² Ей-ей, эти господа англичане престанные люди (франц.).

существования.

И вот обстоятельство, над которым я подшучивал, угрожало причинить мне серьезные неприятности.

Глупость ли то была, беспечность, философский взгляд на вещи, упрямство или что иное, – но в конце концов, когда Ла Флер ушел и я остался совершенно один, я не мог заставить себя думать об этой истории иначе, чем я говорил о ней Евгению.

– А что касается Бастилии, то весь ужас только в этом слове! – Изощряйтесь, как угодно, – думал я, – а все-таки Бастилия не что иное, как крепость – крепость же не что иное, как дом, из которого нельзя выйти. – Несчастные подагрики! Ведь они два раза в год оказываются в таком положении. – Однако с девятью ливрами в день, с пером, чернилами, бумагой и терпением человек, даже если он обречен сидеть в заключении, может чувствовать себя очень сносно – по крайней мере, в течение месяца или шести недель, по прошествии которых, если он существование безобидное, его невиновность раскроется, и, выйдя на свободу, он будет лучше и мудрее, чем был до своего заключения.

Когда я пришел к этому выводу, мне зачем-то понадобилось {а зачем, я забыл} выйти во двор, и помню, что, спускаясь по лестнице, я был очень доволен убедительностью своего рассуждения. – Прочь мрачную кисть! – сказал я хвастливо, – я не завидую ее искусству изображать бедствия жизни в суровых и мертвенных тонах. Душа наша приходит в ужас при виде предметов, которые сама же преувеличила и очернила; верните им их настоящие размеры и цвета, и она их даже не заметит. – Правда, – сказал я, – исправляя свое рассуждение, – Бастилия не из тех зол, которыми можно пренебрегать – но уберите ее башни – засыпьте рвы – удалите заграждения перед ее воротами – назовите ее просто местом заключения и предположите, что вас держит в ней тирания болезни, а не человека – как все ее ужасы рассеются, и вы перенесете вторую половину заключения без жалоб.

В самый разгар этого монолога меня прервал чей-то голос, который я принял было за голос ребенка, жаловавшегося на то, что «он не может выйти». – Осмотревшись по сторонам и не увидев ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, я вышел, больше не прислушиваясь.

На обратном пути я услышал на том же месте те же слова, повторенные дважды; тогда я взглянул вверх и увидел скворца, висевшего в маленькой клетке. – «Не могу выйти. – Не могу выйти», – твердил скворец.

Я остановился посмотреть на птицу; заслышив чьи-нибудь шаги, она порхала в ту сторону, откуда они приближались, с той же жалобой на свое заточение. – «Не могу выйти», – говорил скворец. – Помоги тебе бог, – сказал я, – все-таки я тебя выпущу, чего бы мне это ни стоило. – С этими словами я обошел кругом клетки, чтобы достать до ее дверцы, однако она была так крепко оплетена и переплетена проволокой, что ее нельзя было отворить, не разорвав клетки на куски. – Я усердно принялся за дело.

Птица подлетела к месту, где я трудился над ее освобождением, и, просунув голову между прутьями, в нетерпении прижалась к ним грудью. – Боюсь, бедное создание, – сказал я, – мне не удастся выпустить тебя на свободу. – «Нет, – откликнулся скворец, – не могу выйти, – не могу выйти», – твердил скворец.

Клянусь, никогда сочувствие не пробуждалось во мне с большей нежностью, и я не помню в моей жизни случая, когда бы рассеянные мысли, потешавшиеся над моим разумом, с такой быстротой снова собирались вместе. При всей механичности звуков песенки скворца, в мотиве ее было столько внутренней правды, что она в один миг опрокинула все мои стройные рассуждения о Бастилии, и, понуро поднимаясь по лестнице, я отрекался от каждого слова, сказанного мной, когда я по ней спускался.

– Рядись как угодно, Рабство, а все-таки, – сказал я, – все-таки ты – горькая микстура! и от того, что тысячи людей всех времен принуждены были испить тебя, горечи в тебе не убавилось. – А тебе, трижды сладостная и благодатная богиня, – обратился я к *Свободе*, – все поклоняются публично или тайно; приятно вкусить тебя, и ты останешься желанной, пока не изменится сама *Природа*, – никакие грязные слова не запятнают белоснежной твоей мантии, и никакая химическая сила не обратит твоего скипетра в железо, – поселянин, которому ты

улыбаешься, когда он ест черствый хлеб, с тобою счастливей, чем его король, из дворцов которого ты изгнана. – Милостивый боже! – воскликнул я, преклоняя колени на предпоследней ступеньке лестницы, – дай мне только здоровья, о великий его Податель, и пошли в спутницы прекрасную эту богиню, – а епископские митры, если промысл твой не видит в этом ничего плохого, возложи в изобилии на головы тех, кто по ним тужит!

УЗНИК ПАРИЖ

Образ птицы в клетке преследовал меня до самой моей комнаты; я подсел к столу и, подперев голову рукой, начал представлять себе невзгоды заключения. Мое душевное состояние очень подходило для этого, так что я дал полную волю своему воображению.

Я собирался начать с миллионов моих близких, получивших в наследство одно лишь рабство; но, обнаружив, что, несмотря на всю трагичность этой картины, я не в состоянии наглядно ее представить и что множество печальных групп на ней только мешают мне –

– Я выделил одного узника и, заточив его в темницу, заглянул через решетчатую дверь в сумрачную камеру, чтобы запечатлеть его образ.

Увидев его тело, наполовину разрушенное долгим ожиданием и заключением, я познал, в какое глубокое уныние повергает несбывшаяся надежда. Всмогревшись пристальнее, я обнаружил его бледность и лихорадочное состояние: за тридцать лет прохладный западный ветерок ни разу не освежил его крови – ни солнца, ни месяца не видел он за все это время – и голос друга или родственника не доносился до него из-за решетки, – его дети –

– Но тут сердце мое начало обливаться кровью, и я принужден был перейти к другой части моей картины.

Он сидел на полу, в самом дальнем углу своей темницы, на жиdenькой подстилке из соломы, служившей ему попеременно скамьей и постелью; у изголовья лежал незатейливый календарь из тоненьких палочек, сверху донизу испещренных зарубками гнетущих дней и ночей, проведенных им здесь; – одну из этих палочек он держал в руке и ржавым гвоздем нацарапывал еще день горя в добавление к длинному ряду прежних. Когда я заслонил отпущеный ему скучный свет, он посмотрел безнадежно на дверь, потом опустил глаза в землю, – покачал головой и продолжал свое грустное занятие. Я услышал звяканье цепей на его ногах, когда он повернулся, чтобы присоединить свою палочку к связке. – Он испустил глубокий вздох – я увидел, как железо вонзается ему в душу – я залился слезами – я не мог вынести картины заточения, нарисованной моей фантазией – я вскочил со стула и, кликнув Ла Флер, велел ему заказать для меня извозчику карету с тем, чтобы в девять утра она была подана к дверям гостиницы.

– Поеду прямо, – сказал я, – к господину герцогу де Шуазелю.

Ла Флер с удовольствием уложил бы меня в постель; но, не желая, чтобы он увидел на щеке моей нечто, способное причинить этому честному слуге огорчение, я сказал, что лягу без его помощи – и велел ему последовать моему примеру.

СКВОРЕЦ ДОРОГА В ВЕРСАЛЬ

В назначенный час я сел в заказанную карету. Ла Флер вскочил на запятки, и я приказал кучеру как можно скорее везти нас в Версаль.

– Так как на этой дороге не было ничего примечательного или, вернее, ничего, что меня интересует в путешествии, то лучше всего заполнить пустое место коротенькой историей той самой птицы, о которой шла речь в последней главе.

Когда достопочтенный мистер *** ждал в Дувре попутного ветра, птичку эту, которая еще не умела хорошо летать, поймал на утесах юноша-англичанин, его грум; не пожелав губить скворца, он принес его за пазухой на пакетбот, – занявшиесь его кормлением и взяв под свое

покровительство, привязался к нему и в целости привез в Париж.

В Париже грум купил за ливр для скворца маленькую клетку, и так как в пять месяцев его пребывания здесь вместе с хозяином ему почти нечего было делать, то он выучил скворца трем простым словам на своем родном языке (чем и ограничился) – за которые я считаю себя в большом долгу перед этой птицей.

При отъезде своего хозяина в Италию – мальчик подарил скворца хозяину гостиницы. – Но так как его песенка о свободе раздавалась на непонятном в Париже языке, то скворец не был в большом почете у содергателя гостиницы, и Ла Флер купил его для меня вместе с клеткой за бутылку бургундского.

По возвращении из Италии я привез скворца в ту страну, на языке которой он выучил свою мольбу, и когда я рассказал его историю лорду А. – лорд А. выпросил у меня птицу – через неделю лорд А. подарил ее лорду Б. – лорд Б. преподнес ее лорду В. – а камердинер лорда В. продал его камердинеру лорда Г. за шиллинг – лорд Г. подарил его лорду Д. – и так далее – до половины алфавита. – От этих высокопоставленных лиц скворец перешел в нижнюю палату и прошел через руки стольких же ее членов. – Но так как последние все желали *войти* – а моя птица желала *выйти*, – то скворец был в Лондоне почти в таком же малом почете, как и в Париже.

Не может быть, чтобы среди моих читателей нашлось много таких, которые о нем бы не слышали; и если иным случилось его видеть – позволю себе сообщить им, что птица эта была моя – или же дрянная копия, сделанная в подражание ей. Мне больше нечего сказать о ней, кроме того, что с той поры я поместил бедного скворца на своем гербе в качестве нашлемника. И пусть гербоведы свернут ему шею, если посмеют.

ОБРАЩЕНИЕ ВЕРСАЛЬ

Мне было бы неприятно, если бы мой недруг заглянул мне в Душу, когда я собираюсь просить у кого-нибудь покровительства; поэтому я обыкновенно стараюсь обходиться без нужной помощи, но моя поездка к господину герцогу де Ш*** была вынужденной – будь она добровольной, я бы ее совершил, вероятно, как и другие люди.

Сколько низких планов гнусного обращения сложило по дороге мое раболепное сердце! Я заслуживал Бастилии за каждый из них.

Когда же показался Версаль, я больше ни на что не был способен, как только подбирать слова и сочинять фразы, а также придумывать позы и тон голоса, при помощи которых я мог бы снискать благорасположение господина герцога де Ш***. – Это подойдет, – сказал я. – Точь-в-точь так, – возразил я себе, – как кафтан, который сшил бы ему предприимчивый портной, не сняв предварительно мерки. – Дурак! – продолжал я, – взгляни раньше на лицо господина герцога – присмотрись, какой характер написан на нем, – обрати внимание, в какую он станет позу, выслушивая тебя, – подметь все изгибы и выражения его туловища, рук и ног – а что касается тона голоса – первый звук, слетевший с его губ, подскажет его тебе; на основании всего этого ты и составишь тут же на месте обращение, которое не может не прийтись по вкусу герцогу – ведь все приправы будут заимствованы у него же, и, по всей вероятности, он их охотно проглотит.

– Хорошо, – сказал я, – скорей бы все это миновало. – Опять ты трусишь! Разве люди не равны на всей поверхности земного шара? А если они таковы на поле сражения – почему им не быть равными также и с глазу на глаз, в кабинете? Поверь мне, Йорик, когда это не так, мы действуем предательски по отношению к себе и десять раз ставим под удар наши вспомогательные силы там, где природа сделает это всего раз. Ступай к герцогу де Ш*** с Бастилией во взорах – головой ручаюсь, через полчаса тебя отошлют под конвоем в Париж,

– Я в этом не сомневаюсь, – сказал я. – В таком случае, клянусь небом, я явлюсь к герцогу с самим веселым и непринужденным видом. –

– Вот и снова ты не прав, – возразил я. – Спокойное сердце, Йорик, не мечется от одной

крайности к другой – оно всегда помещается в середине. – Хорошо, хорошо! – воскликнул я, когда кучер завернул в ворота, – мне кажется, я отлично справлюсь, – и к тому времени, когда карета, описав круг по двору, подкатила к подъезду, я обнаружил на себе такое благоприятное действие собственных наставлений, что двинулся по лестнице не так, как поднимается по ней жертва правосудия, которой предстоит расстаться с жизнью на верхней ступеньке, – но и не с тем проворством, с каким я единственным духом взлетаю к тебе, Элиза, чтобы обрести жизнь.

Когда я вошел в двери приемной, меня встретил человек, который, может быть, был дворецким, но больше походил на младшего секретаря, и я услышал от него, что герцог де Ш*** занят. – Мне совершенно неизвестны, – сказал я, – формальности для получения аудиенции, так как я здесь человек чужой и, вдобавок, что еще хуже при нынешнем положении вещей, я – англичанин. – Он возразил, что обстоятельство это не увеличивает затруднений. – Я сделал ему легкий поклон и сказал, что у меня важное дело к господину герцогу. Секретарь посмотрел в сторону лестницы, словно изъявляя готовность позволить мне подняться к кому-то с моим делом. – Но я не хочу вводить вас в заблуждение, – сказал я, – то, что я собираюсь сообщить, не представляет никакой важности для господина герцога де Ш***, но чрезвычайно важно для меня. – C'est une autre affaire⁷³, – отвечал он. – Для человека учтивого – нисколько, – сказал я. – Но скажите, пожалуйста, милостивый государь, – продолжал я, – когда же иностранец может надеяться получить доступ? – Не раньше, чем через два часа, – сказал секретарь, взглянув на часы. Количество экипажей во дворе как будто оправдывало слова секретаря, что мне нечего рассчитывать быть принятым скорее, – так как расхаживать взад и вперед по приемной, где я ни с кем не мог перемолвиться словом, было в то время так же невесело, как находиться в самой Бастилии, то я немедленно вернулся к моей карете и велел кучеру везти меня в Cordon Bleu⁷⁴, ближайшую версальскую гостиницу.

Мне кажется, в этом есть что-то роковое: я редко дохожу до того места, куда я направляюсь.

LE PATISSIER⁷⁵ ВЕРСАЛЬ

Не проехал я и половины улицы, как изменил свое намерение: уж если я в Версале, – подумал я, – то прекрасно могу осмотреть город; вот почему я дернулся за шнурок и приказал кучеру прокатить меня по главным улицам. – Город, я думаю, не велик, – сказал я. – Кучер извинился за то, что меня поправляет, и сказал, что, напротив, Версаль город пышный и что многие первые герцоги, маркизы и графы имеют здесь свои дома. – Я вдруг вспомнил графа де Б***, о котором так лестно говорил накануне книгопродавец с набережной Конти. – А почему бы мне не зайти, подумал я, к графу де Б***, который такого высокого мнения об английских книгах и об англичанах, – и не рассказать ему приключившейся со мной истории? Так я во второй раз переменил намерение. – По правде говоря – в третий, – ведь я собирался в этот день к мадам де Р*** на улицу Святого Петра и почтительнейше передал ей через ее fille de chambre, что обязательно ее навещу – но я не в силах управлять обстоятельствами, – они мной управляют; вот почему, увидя человека, стоявшего с корзиной на другой стороне улицы, словно он что-то продавал, я велел Ла Флеру подойти к нему и расспросить, где находится дом графа.

Ла Флер вернулся немного побледневший и сказал, что это кавалер ордена св. Людовика,

⁷³ Это другое дело (франц.).

⁷⁴ «Синяя лента»; здесь может быть в значении также «искусная кухарка» (франц.).

⁷⁵ Пирожник (франц.).

который продает pates⁷⁶. – Не может быть, Ла Флер, – сказал я. – Ла Флер так же мало мог объяснить это явление, как и я, но упорно стоял на своем: он видел, по его словам, оправленный в золото крест на красной ленточке, продетой в петлицу, а также заглянул в корзину и видел pates, которые продавал кавалер; таким образом, он не мог ошибиться.

Такое крушение в жизни человека пробуждает лучшие чувства, чем любопытство: я не в силах был оторвать от него взор, сидя в карете – чем дольше я на него смотрел, на его крест и на его корзину, тем сильнее внедрялись они в мой мозг, – я вылез из кареты и подошел к нему.

На нем был чистый полотняный фартук, спускающийся ниже колен, а также род детского передничка, доходившего до половины груди; повыше передничка, немного спускаясь над его верхним краем, висел крест. Корзина с маленькими pates была покрыта белой камчатной салфеткой; другая такая же салфетка была разостлана на дне корзины; на всем этом лежала печать proprete⁷⁷ и опрятности, так что его pates можно было кушать не только из сострадания, но и вследствие аппетитного их вида.

Он никому их не предлагал, но безмолвно стоял с ними на углу одного дома, поджидая покупателей, которые брали бы их по собственному почину, без его просьбы.

Это был человек лет сорока восьми – с виду солидный и даже, пожалуй, важный. Я не выразил удивления. – Подойдя скорее к корзине, чем к нему, я приподнял салфетку, взял один из его pates – и попросил его объяснить тронувшее меня явление.

Он сообщил мне в немногих словах, что лучшую часть своей жизни провел на военной службе, где, истратив небольшое родовое имущество, он получил роту, а вместе с ней и крест; но после заключения последнего мира полк его был распущен, и весь офицерский персонал, вместе с персоналом некоторых других полков, остался без всяких средств к существованию; он увидел, что у него нет на свете ни друзей, ни денег – и вообще ничего, – сказал он, – кроме этой вещицы, – говоря это, он показал на свой крест. – Бедный кавалер пробудил во мне жалость, а к концу этой сцены завоевал также мое уважение.

Король, сказал он, щедрейший из всех государей, но его щедрость не может облегчить или вознаградить каждого; ему не повезло, и он оказался в числе обойденных. У него есть милая жена, сказал он, которую он любит, она ему печет patisserie; он не видит, прибавил он, никакого бесчестья в том, что охраняет таким образом ее и себя от нужды – если провидение не послало ему ничего лучшего.

Было бы нехорошо отнять удовольствие у добрых людей, обойдя молчанием то, что случилось с этим несчастным кавалером ордена св. Людовика месяцев девять спустя.

По-видимому, у него вошло в привычку останавливаться у железных ворот, которые ведут ко дворцу, и так как его крест бросался в глаза многим, то многие обращались к нему с теми же расспросами, что и я. – Он всем рассказывал ту же историю, всегда с такой скромностью и так разумно, что она достигла наконец ушей короля. – Узнав, что кавалер был Храбрым офицером и пользовался уважением всего полка, как человек честный и безупречный – король положил конец его скромной торговле, назначив ему пенсию в полторы тысячи ливров в год.

Я рассказал эту историю, чтобы доставить удовольствие читателю, – так пусть же он доставит удовольствие мне, позволив рассказать другую, выпадающую из порядка повествования, – обе эти истории бросают свет одна на другую – и было бы жалко их разъединять.

ШПАГА РЕНН

Если государства и империи знают периоды упадка, если и для них наступает черед

⁷⁶ Пирожки (франц.).

⁷⁷ Чистоты (франц.).

почувствовать, что такое нужда и бедность, – так почему же мне не рассказать о причинах, которые постепенно привели к падению дом д'Е*** в Бретани. Маркиз д'Е*** с большим упорством боролся за свое положение; ему очень хотелось сохранить, а также показать свету кое-какие скучные остатки того, чем были его предки, – их безрассудства сделали для него это непосильным. Оставалось достаточно для поддержания скромного существования в *тени*, – но у него было два мальчика, которые тянулись к *свету*, ожидая от него помощи – и он полагал, что они ее заслуживают. Он попытал свою шпагу – она не могла открыть ему дорогу – *восхождение* было слишком дорого – простая бережливость его не окупала – оставалось последнее средство – торговля.

Во всякой другой провинции французского королевства, за исключением Бретани, это значило подрубить под самый корень дерево, которое его гордость и любовь желали бы видеть зацветшим вновь. – Но в бретонских законах существует оговорка на этот счет, и он ею воспользовался; подождав созыва штатов в Ренне, маркиз явился на заседание в сопровождении обоих сыновей и, сославшись на один древний закон герцогства, который, хотя к нему и редко обращаются, сказал он, все-таки остается в силе, снял с себя шпагу. – Вот она, – сказал он, – возьмите ее и бережно храните, пока лучшие времена не позволят мне потребовать ее обратно.

Председатель принял шпагу маркиза – тот остался еще несколько минут, чтобы присмотреть, как ее положат в архив его рода, и удалился.

На другой день маркиз отплыл со всей семьей на Мартинику, и после двадцатилетней удачной торговли, получив вдобавок несколько неожиданных наследств от далеких своих родственников, вернулся на родину, чтобы потребовать обратно дворянское звание и с достоинством нести его.

По счастливой случайности, выпадающей единственно только чувствительному путешественнику, я прибыл в Ренн как раз во время этого торжественного требования; я называю его торжественным – таким оно было, по крайней мере, для меня.

Маркиз явился в залу суда со всей своей семьей: он вел под руку жену, старший его сын вел под руку сестру, а младший находился по другую сторону, возле своей матери – два раза поднес он к лицу платок –

– Стояла мертвая тишина. Приблизившись к трибуналу на расстояние шести шагов, он поручил жену младшему сыну, выступил на три шага перед своей семьей – и потребовал обратно свою шпагу. Шпага была ему возвращена, и, приняв ее, маркиз почти целиком ее обнажил – перед ним было сияющее лицо друга, от которого он некогда отступил – он внимательно ее осмотрел, начиная от эфеса, словно желая удостовериться, что она та самая, – как вдруг, заметив небольшую ржавчину, появившуюся на ней у самого остряя, поднес ее к глазам и склонил над ней голову – мне сдается, я увидел, как на эту ржавчину упала слеза. Я не мог ошибиться, судя по тому, что последовало.

"Я найду другой способ ее уничтожить", – сказал он. Сказав это, маркиз вложил шпагу в ножны, поклонился ее хранителям – и вышел с женой и дочерью, а оба сына последовали за ним.

О, как я позавидовал его чувствам!

ПАСПОРТ ВЕРСАЛЬ

Я был беспрепятственно допущен к господину графу де Б***. Собрание сочинений Шекспира лежало перед ним на столе, и он перелистывал томики. Подойдя к самому столу и взглянув на книги с видом человека, которому они хорошо известны, – я сказал графу, что явился к нему, не будучи никем представлен, так как рассчитывал встретиться у него с другом, который сделает мне это одолжение. – То мой соотечественник, великий Шекспир, – сказал я, показывая на его сочинения, – et ayez la bonte, mon cher ami, – прибавил я, обращаясь к духу

писателя, – de me faire cet honneur – la 78 –

Этот необычный способ рекомендоваться вызвал у графа улыбку; обратив внимание на мою бледность и нездоровы вид, он очень настойчиво попросил меня сесть в кресло; я сел и, чтобы не затруднять хозяина догадками о цели этого визита, сделанного вне всяких правил, рассказал ему про случай в книжной лавке и почему случай этот побудил меня обратиться с просьбой помочь в одном постигшем меня маленьком затруднении именно к нему, а не к кому-нибудь другому во Франции. – В чем же ваше затруднение? Я вас слушаю, – сказал граф. – Тогда я рассказал ему всю историю совершенно так, как я рассказал ее читателю. –

– Хозяин моей гостиницы, – сказал я в заключение, – уверяет, господин граф, что меня непременно отправят в Бастилию, но я совершенно спокоен, – продолжал я, – потому что, попав в руки самого цивилизованного народа на свете и не зная за собой никакой вины, – я ведь не пришел высматривать наготу земли этой, – я почти не думал о том, что нахожусь в его полной власти. – Французам не пристало, господин граф, – сказал я, – проявлять свою храбрость на инвалидах.

Яркий румянец выступил на щеках графа де Б***, когда я это сказал. – Ne craignez rien – не бойтесь, – сказал он. – Право же, я не боюсь, – повторил я. – Кроме того, – продолжал я шутливо, – я проделал весь путь от Лондона до Парижа смеясь, и думаю, что господин герцог де Шуазель не такой враг веселья, чтобы отослать меня назад плачущим от причиненных мне огорчений.

– Моя покорнейшая просьба к вам, господин граф де Б*** (при этом я низко ему поклонился), похлопотать перед ним, чтобы он этого не делал.

Граф слушал меня с большим добродушием, иначе я не сказал бы и половины мною сказанного – и раз или два произнес – C'est bien dit⁷⁹. – На этом я покончил со своим делом – и решил больше к нему не возвращаться.

Граф направлял разговор; мы толковали о безразличных вещах – о книгах и политике, о людях – а потом о женщинах. – Бог да благословит их всех! – произнес я, после того как мы долго о них говорили, – нет человека на земле, который бы так любил их, как я: несмотря на все их слабости, мною подмеченные, и множество прочитанных мною сатир на них, я все-таки их люблю, будучи твердо убежден, что женщина, не чувствующий расположения ко всему их полу, никогда не способен как следует полюбить одну из них.

– Eh bien! Monsieur l'Anglais, – весело сказал граф. – Вы не пришли высматривать наготу земли нашей – я вам верю – ni encore⁸⁰, смею сказать, наготу наших женщин. – Но разрешите мне высказать предположение – если, par hazard⁸¹, она попадется вам на пути, разве вид ее не тронет ваших чувств?

Во мне есть что-то, в силу чего я не выношу ни малейшего намека на непристойность: увлеченный веселой болтовней, я не раз пробовал побороть себя и путем крайнего напряжения сил отваживался в обществе десяти женщин на тысячу вещей – самой ничтожной части которых я бы не посмел сделать с каждой из них в отдельности даже за райское блаженство.

– Извините меня, господин граф, – сказал я, – что касается наготы земли вашей, то если бы мне довелось ее увидеть, я взглянул бы на нее со слезами на глазах, – а в отношении наготы ваших женщин (я покраснел от самой мысли о ней, вызванной во мне графом) я держусь евангельских взглядов и полон такого сочувствия ко всему слабому у них, что охотно прикрыл бы ее одеждой, если бы только умел ее накинуть. – Но я бы очень желал, – продолжал я, –

⁷⁸ Будьте добры, дорогой друг, оказать мне эту честь (франц.).

⁷⁹ Хорошо сказано (франц.).

⁸⁰ Ни также (франц.).

⁸¹ Случайно (франц.).

высмогреть *наготу их сердец* и сквозь разнообразные личины обычаев, климата и религии разглядеть, что в них есть хорошего, и в соответствии с этим образовать собственное сердце – ради чего я и приехал.

– По этой причине, господин граф, – продолжал я, – я не видел ни Пале-Рояля – ни Люксембурга – ни фасада Лувра – и не пытался удлинить списков картин, статуй и церквей, которыми мы располагаем. – Я смотрю на каждую красавицу, как на храм, и я вошел бы в него и стал бы любоваться развешанными в нем оригинальными рисунками и беглыми набросками охотнее, чем даже «Преображенiem» Рафаэля.

– Жажда этих откровений, – продолжал я, – столь же жгучая, как та, что горит в груди знатока живописи, привела меня из моей родной страны во Францию, а из Франции поведет меня по Италии. – Это скромное путешествие сердца в поисках *Природы* и тех приязненных чувств, что ею порождаются и побуждают нас любить друг друга – а также мир – больше, чем мы любим теперь.

Граф сказал мне в ответ на это очень много любезностей и весьма учтиво прибавил, как много он обязан Шекспиру за то, что он познакомил меня с ним. – А *propos*, – сказал он, – Шекспир полон великих вещей, но он позабыл об одной маленькой формальности – не назвал вашего имени – так что вам придется сделать это самому.

ПАСПОРТ ВЕРСАЛЬ

Для меня нет ничего затруднительнее в жизни, чем сообщить кому-нибудь, кто я такой, – ибо вряд ли найдется человек, о котором я не мог бы дать более обстоятельные сведения, чем о себе; часто мне хотелось уметь отрекомендоваться всего одним словом – и конец. И вот первый раз в жизни представился мне случай осуществить это с некоторым успехом – на столе лежал Шекспир – вспомнив, что он обо мне говорит в своих произведениях, я взял «Гамлета», раскрыл его на сцене с могильщиками в пятом действии, ткнул пальцем в слово *Йорик* и, не отнимая пальца, протянул книгу графу со словами – *Me voici!*⁸²

Выпала ли у графа мысль о черепе бедного Йорика благодаря присутвию черепа вашего покорного слуги или каким-то волшебством он перенесся через семьсот или восемьсот лет, это здесь не имеет значения – несомненно, что французы легче схватывают, чем соображают – я ничему на свете не удивляюсь, а этому меньше всего; ведь даже один из глав нашей церкви, к прямоте и отеческим чувствам которого я питал высочайшее почтение, впал при таких же обстоятельствах в такую же ошибку. – Для него невыносима, – сказал он, – самая мысль заглянуть в проповеди, написанные шутом датского короля. – Хорошо, ваше преосвященство, – сказал я, – но есть два Йорика. Йорик, о котором думает ваше преосвященство, умер и был похоронен восемьсот лет тому назад; он преуспевал при дворе Горвендиллуса; другой Йорик – это я, не преуспевавший, ваше преосвященство, ни при каком дворе. – Он покачал головой. – Боже мой, – сказал я, – вы с таким же правом могли бы смешать Александра Великого с Александром-медником, ваше преосвященство. – Это одно и то же, – возразил он –

– Если бы Александр, царь македонский, мог перевести ваше преосвященство в другую епархию, – сказал я, – ваше преосвященство, я уверен, этого не сказали бы.

Бедный граф де Б*** впал в ту же *ошибку* –

– Et, Monsieur, est-il Yorick?⁸³ – воскликнул граф. – Je le suis, – отвечал я. – Vous? – Moi – moi qui a l'honneur de vous parler, Monsieur le Comte. – Mon Dieu! – проговорил он, обнимая меня. – Vous etes Yorick!⁸⁴

⁸² Вот я! (франц.)

⁸³ Неужели, мосье, вы – Йорик? (франц.).

⁸⁴ Да, я Йорик. – Вы? – Я – я, имеющий честь с вами разговаривать, господин граф. – Боже мой! Вы – Йорик!

С этими словами граф сунул Шекспира в карман и оставил меня одного в своей комнате.

ПАСПОРТ ВЕРСАЛЬ

Я не мог понять, почему граф де Б*** так внезапно вышел из комнаты, как не мог понять, почему он сунул в карман Шекспира. – *Тайны*, которые должны разъясниться сами, не стоят того, чтобы терять время на их разгадку; лучше было почитать Шекспира; я взял "Много шуму из ничего" и мгновенно перенесся с кресла, в котором я сидел, на остров Сицилию, в Мессину, и так увлекся доном Педро, Бенедиктом и Беатриче, что перестал думать о Версале, о графе и о паспорте;

Милая податливость человеческого духа, который способен вдруг погрузиться в мир иллюзий, скрашивающих тяжелые минуты ожидания и горя! – Давно-давно уже завершили бы вы счет дней моих, не проводя я большую их часть в этом волшебном kraю. Когда путь мой бывает слишком тяжел для моих ног или слишком крут для моих сил, я сворачиваю на какую-нибудь гладкую бархатную тропинку, которую фантазия усыпала розовыми бутонами наслаждений, и, прогулявшись по ней, возвращаюсь назад, окрепший и посвежевший. – Когда скорби тяжко гнетут меня и нет от них убежища в этом мире, тогда я выбираю новый путь – я оставляю мир, – и, обладая более ясным представлением о Елисейских полях, чем о небе, я силой прокладываю себе дорогу туда, подобно Энею – я вижу, как он встречает задумчивую тень покинутой им Диодоны и желает ее признать, – вижу, как оскорбленный дух качает головой и молча отворачивается от виновника своих бедствий и своего бесчестья, – собственные мои чувства растворяются в ее чувствах и в том сострадании, которое вызывали обыкновенно во мне ее горести, когда я сидел на школьной скамье.

Поистине это не значит витать в царстве пустых теней – и не попусту доставляет себе человек это беспокойство – чаще пустыми бывают его попытки доверить успокоение своих волнений одному только разуму. – Смело могу сказать про себя: никогда я не был в состоянии так решительно подавить дурное чувство в моем сердце иначе, как призвав поскорее на помощь другое, доброе и нежное чувство, чтобы сразить врага в его же владениях.

Когда я дочитал до конца третьего действия, вошел граф де Б*** с моим паспортом в руке. – Господин герцог де Ш***, – сказал граф, – такой же прекрасный пророк, смею вас уверить, как и государственный деятель. – *Un homme qui rit*, – сказал герцог, – ne sera jamais dangereux⁸⁵. – Будь это не для королевского шута, а для кого-нибудь другого, – прибавил граф, – я не мог бы раздобыть его в течение двух часов. – *Pardonnez-moi, Monsieur le Comte*⁸⁶, – сказал я, – я не королевский шут. – Но ведь вы Йорик? – Да. – *Et vous plaisantez?*⁸⁷ – Я ответил, что действительно люблю шутить, но мне за это не платят – я это делаю всецело за собственный счет.

– У нас нет придворных шутов, господин граф, – сказал я, – последний был в распутное царствование Карла Второго – ас тех пор нравы наши постепенно настолько очистились, что наш двор в настоящее время переполнен патриотами, которые ничего не желают, как только преуспеяния и богатства своей страны – и наши дамы все так целомудренны, так безупречны, так добры, так набожны – шуту там решительно нечего вышучивать –

(франц.).

⁸⁵ Человек, который смеется, никогда не будет опасен (франц.).

⁸⁶ Простите, господин граф (франц.).

⁸⁷ И вы шутите? (франц.).

– Voila un persiflage!⁸⁸ – воскликнул граф.

ПАСПОРТ ВЕРСАЛЬ

Так как паспорт предлагал всем наместникам, губернаторам и комендантам городов, генералам армий, судьям и судебным чиновникам разрешать свободный проезд вместе с багажом господину Йорику, королевскому шуту, – то, признаюсь, торжество мое по случаю получения паспорта было немало омрачено ролью, которая мне в нем приписывалась. – Но на свете ничего нет незамутненного; некоторые солиднейшие наши богословы решаются даже утверждать, что само наслаждение сопровождается вздохом – и что величайшее из *им известных* кончается *обыкновенно* содроганием почти болезненным.

Помнится, ученый и важный Беворискиус в своем комментарии к поколениям от Адама очень натурально обрывает на половине одно свое примечание, чтобы поведать миру о паре воробьев, расположившихся на наружном выступе окна, которые все время мешали ему писать и наконец совершенно оторвали его от генеалогии.

– Странно! – пишет Беворискиус. – Однако факты достоверны, потому что из любопытства я отмечал их один за другим штрихами пера – за короткое время, в течение которого я успел бы закончить вторую половину этого примечания, воробей-самец ровно двадцать три с половиной раза прерывал меня повторением своих ласк.

Как милостиво все-таки небо, – добавляет Беворискиус, – к своим созданиям!

Злосчастный Йорик! Степеннейший из твоих собратьев способен был написать для широкой публики слова, которые заливают твое лицо румянцем, когда ты только переписываешь их наедине в своем кабинете.

Но это не относится к моим путешествиям. – И потому я дважды – дважды прошу извинить меня за это отступление.

ХАРАКТЕР ВЕРСАЛЬ

– Как вы находите французов? – спросил граф де Б***, вручив мне паспорт.

Читатель легко догадается, что после столь убедительного доказательства учтивости мне не составило труда ответить комплиментом на этот вопрос.

– Mais passe, pour cela⁸⁹. – Скажите откровенно, – настаивал он, – нашли вы у французов всю ту вежливость, которую весь мир так предупредительно нам приписывает? – Я нашел всевозможные ее подтверждения, – отвечал я. – Vraiment, – сказал граф, – les Francais sont polis⁹⁰. – Даже слишком, – отвечал я.

Граф обратил внимание на слово *слишком* и стал утверждать, что я не высказываю всего, что думаю. Долго я всячески оправдывался – он настаивал, что у меня есть какая-то задняя мысль, и требовал высказаться откровенно.

– Я думаю, господин граф, – сказал я, – что человек, подобно музыкальному инструменту, имеет известный диапазон и что его общественные и иные занятия нуждаются поочередно в каждой тональности, так что, если вы возьмете слишком высокую или слишком низкую ноту, в верхнем или в нижнем регистре непременно обнаружится пробел, и гармония будет

⁸⁸ Вот это шутовство! (франц.).

⁸⁹ Хорошо, оставим это (франц.).

⁹⁰ Право, французы вежливы (франц.).

нарушена. – Граф де Б*** ничего не понимал в музыке и потому попросил меня объяснить мою мысль как-нибудь иначе. – Перед образованной нацией, мой милый граф, – сказал я, – каждый чувствует себя должником; кроме того, учтивость сама по себе, подобно прекрасному полу, заключает столько прелести, что язык не повернется сказать, будто она может причинить зло. А все-таки я думаю, что существует известный предел совершенства, достичимый для человека, взятого в целом, – переступая этот предел, он, скорее, разменивает свои достоинства, чем приобретает их. Не смею судить, насколько это приложимо к французам в той области, о которой мы говорим, – но если бы нам, англичанам, удалось когда-нибудь при помоши постепенной шлифовки приобрести тот лоск, которым отличаются французы, то хотя бы даже мы не утратили при этом *politesse du coeur*⁹¹, располагающей людей больше к человеколюбивым, чем к вежливым поступкам, – мы непременно потеряли бы присущее нам разнообразие и самобытность характеров, которые отличают нас не только друг от друга, но и от всех прочих народов.

У меня в кармане было несколько шиллингов времен короля Вильгельма, гладких, как стекляшки; предвидя, что они мне пригодятся для иллюстрации моей гипотезы, я взял их в руку, когда дошел до этого места –

– Взгляните, господин граф, – сказал я, вставая и раскладывая их перед ним на столе, – семьдесят лет ударялись они друг о друга и подвергались взаимному трению в карманах разных людей, отчего сделались настолько похожими между собой, что вы с трудом можете отличить один шиллинг от другого.

Подобно старинным медалям, которые хранились бережнее и проходили через небольшое число рук, англичане сохраняют первоначальные резкие черты, приданые им тонкой рукой природы – они не так приятны на ощупь – но зато надпись так явственна, что вы с первого же взгляда узнаете, чье изображение и чье имя они носят. – Однако французы, господин граф, – прибавил я (желая смягчить свои слова), – обладают таким множеством достоинств, что могут отлично обойтись без этого, – они самый верный, самый храбрый, самый великодушный, самый остроумный и самый добродушный народ под небесами. Если у них есть недостаток, так только тот, что они – слишком *серъезны*.

– Mon Dieu! – воскликнул граф, вскакивая со стула.

– Mais vous plaisantez⁹², – сказал он, исправляя свое восклицание. – Я положил руку на грудь и с самым искренним и серьезным видом заверил его, что таково мое твердое убеждение.

Граф выразил крайнее сожаление, что не может остаться и выслушать мои доводы, так как должен сию минуту ехать обедать к герцогу де Ш***.

– Но если вам не очень далеко приехать в Версаль откушать со мной тарелку супу, то прошу вас перед отъездом из Франции доставить мне удовольствие послушать, как вы будете брать назад ваше мнение – или как вы его будете защищать. – Но если вы собираетесь его защищать, господин англичанин, – сказал он, – вам придется пустить в ход все свои силы, потому что весь мир против вас. – Я обещал графу принять его приглашение пообедать с ним до отъезда в Италию – и откланялся.

ИСКУШЕНИЕ ПАРИЖ

Когда я сошел с кареты у подъезда гостиницы, швейцар доложил, что сию минуту меня спрашивала молодая женщина с картонкой. Не знаю, – сказал швейцар, – ушла она уже или нет. – Я взял у него ключ от своей комнаты и поднялся наверх; не доходя десяти ступенек до площадки перед моей дверью, я встретился с посетительницей, которая неторопливо спускалась

⁹¹ Деликатности (франц.).

⁹² Вы шутите (франц.).

по лестнице.

То была хорошенъкая fille de chambre, с которой я прошелся по набережной Конти: мадам де Р*** послала ее с какими-то поручениями к marchande des modes⁹³ в двух-трех шагах от гостиницы Модена; так как я не явился к ней с визитом, то она велела девушке узнать, не уехал ли я из Парижа, и если уехал, то не оставил ли адресованного ей письма.

Хорошенъкая fille de chambre находилась совсем близко от моей двери, а потому вернулась назад и зашла со мной в мою комнату подождать две-три минуты, пока я напишу несколько слов.

Был прекрасный тихий вечер в самом конце мая – малиновые занавески на окне (того же самого цвета, что и полог у кровати) были плотно задернуты – солнце садилось и бросало сквозь них отблеск такого теплого тона на лицо хорошенъкой fille de chambre – мне показалось, будто она краснеет – мысль об этом бросила меня самого в краску – мы были совершенно одни, и это обстоятельство навело на мои щеки второй румянец прежде, чем с них успел сойти первый.

Бывает такой приятный полу преступный румянец, в котором повинна больше кровь, чем помыслы, – она бурно приливает из сердца, а добродетель спешит за ней вдогонку – не с тем, чтобы ее отогнать, а чтобы придать ощущению большую сладость для нервов – она с ней сочетается.

Но я не буду на этом останавливаться. – Сначала я почувствовал в себе нечто не вполне созвучное с уроком добродетели, который я ей преподал накануне, – пять минут искал я листка бумаги – я знал, что у меня нет ни одного. – Я взял перо – и снова положил его – рука моя дрожала – бес сидел во мне.

Я знаю не хуже других, что, если этому противнику дать отпор, он от нас убежит – однако я редко даю ему отпор из страха, что, одолев его, я все-таки могу в схватке пострадать – поэтому ради безопасности я отказываюсь от торжества над ним, и вместо того чтобы думать об обращении его в бегство, обыкновенно убегаю сам.

Хорошенъкая fille de chambre подошла к самому столу, на котором я искал бумагу, – сначала подняла брошенное мной перо, а потом предложила подержать мне чернильницу: она это сделала так мило, что я уже собирался принять перо – но не посмел. – Мне не на чем писать, душенька, – сказал я. – Напишите, – сказала она простодушно, – на чем-нибудь –

Я чуть было не воскликнул: так я напишу, красотка, на твоих губах! –

Если я это сделаю, – сказал я, – я погиб. – Вот почему я взял ее за руку и повел к дверям, попросив не забывать преподанного ей урока. – Она сказала, что, конечно, не забудет – и, произнеся эти слова с некоторым возбуждением, обернулась и протянула мне обе свои руки, сложенные вместе, – в таком положении невозможно было не пожать их – я хотел их выпустить: все время, пока я их держал, я мысленно упрекал себя за это – и все-таки продолжал держать. – Через две минуты я обнаружил, что должен повторить всю борьбу сначала – при этой мысли я почувствовал дрожь в ногах и во всем теле.

Кровать находилась в полутора ярдах от того места, где мы стояли, – я все еще держал ее за руки – как это вышло, не могу понять, только я не просил ее – и не тащил – и не думал о кровати – но вышло так, что мы оба сели на кровать.

– Сейчас я вам покажу, – сказала хорошенъкая fille de chambre, – кошелек, который я сшила сегодня, чтобы хранить в нем вашу корону. – С этими словами она засунула руку в свой правый карман, ближайший ко мне, и несколько мгновений шарила в нем – потом в левый. – «Она его потеряла». – Никогда ожидание не казалось мне столь мало тягостным – наконец кошелек нашелся в ее правом кармане – она его вынула; он был из зеленой тафты, подбитой кусочком белого стеганого атласа, и в нем могла поместиться только эта корона – она дала его мне подержать – такой хорошенъкий кошелек; я держал его десять минут, положив руку ей на колени – поглядывая то на кошелек, то немного вбок от него.

⁹³ Модистке (франц.).

На складках моего жабо распустилось несколько стежков – хорошенькая fille de chambre, ни слова не говоря, достала свою рабочую шкатулочку, продела нитку в тоненькую иголку и привела жабо в порядок. – Я предвидел, что ее усердие помрачит блеск этого дня; когда она во время шитья несколько раз молча провела рукой у самой моей шеи, я почувствовал, что лавры, которыми я мысленно увидел главу мою, готовы с нее свалиться.

Во время ходьбы у нее распустился ремешок, так что пряжка от башмака едва держалась. – Глядите, – сказала fille de chambre, поднимая ногу. – Мне, конечно, ничего не оставалось, как в знак признательности прикрепить ей пряжку и вдеть ремешок – после этого я поднял ее другую ногу, чтобы посмотреть, все ли там в порядке, – но сделал это слишком внезапно – хорошенькая fille de chambre не могла удержать равновесие – и тогда – –

ПОБЕДА

Да – и тогда – Вы, чьи мертвенно холодные головы и тепловатые сердца способны побеждать логическими доводами или маскировать ваши страсти, скажите мне, какой грех в том, что они обуревают человека? Или как дух его может отвечать перед Отцом духов только за то, что действовал под их влиянием? Если Природа так соткала свой покров благости, что местами в нем попадаются нити любви и желания, – следует ли разрывать всю ткань для того, чтобы их выдернуть? – Бичуй таких стоиков, великий Правитель природы! – сказал я про себя. – Куда бы ни закинуло меня твое пророчество для испытания моей добродетели – какой бы я ни подвергся опасности – каково бы ни было мое положение – дай мне изведать во всей их полноте чувства, которые из него возникают и которые мне присущи, поскольку я человек, – если я буду владеть ими должным образом, я спокойно доверю решение твоему правосудию; ибо ты создал нас, а не сами мы себя создали. Окончив это обращение, я поднял хорошенькую fille de chambre за руку и вывел ее из комнаты – она остановилась возле меня, когда я запирал дверь и прятал ключ в карман – и тогда – так как победа была решительная – только тогда я прижался губами к ее щеке и, снова взяв ее за руку, благополучно проводил до ворот гостиницы.

ТАЙНА ПАРИЖ

Кому ведомо человеческое сердце, тот поймет, что мне невозможно было сразу вернуться в свою комнату – это было все равно что по окончании музыкальной пьесы, звонившей все наши чувства, перейти вдруг от мажорного созвучия в минорную терцию. – Вот почему, выпустив руку fille de chambre, я некоторое время стоял у ворот гостиницы, разглядывая каждого прохожего и строя о нем догадки, пока внимание мое не было привлечено одиноким субъектом, спутавшим все мои предположения о нем.

То был высокий мужчина с философским, серьезным и жгучим взглядом, который неторопливо расхаживал взад и вперед по улице, делая шагов по шестидесяти в ту и в другую сторону от ворот гостиницы – ему на вид было года пятьдесят два – он держал под мышкой тоненькую тросточку – одет был в темный, тусклый-коричневый кафтан, жилет и штаны, видно послужившие ему не мало лет – хотя они были еще чистые, и на всей его внешности лежала печать бережливой *proprete*. По тому, как он снимал шляпу – по той позе, в какую он становился, обращаясь ко многим прохожим на улице, я понял, что он просит милостыни; поэтому я достал из кармана и держал наготове несколько су, чтобы подать ему, если бы он обратился ко мне. Но он прошел мимо, ничего у меня не попросив, – а между тем, не сделав и пяти шагов дальше, обратился за подаянием к одной скромного вида женщине – хотя скорее мог рассчитывать получить у меня. – Не успел он отойти от этой женщины, как уже снял шляпу перед другой, направлявшейся в ту же сторону. – Навстречу ему медленно прошел почтенного вида пожилой господин – за ним молодой щеголь – он пропустил их обоих, ничего у них не попросив. Я простоял, наблюдая за ним, с полчаса, и за это время он раз двенадцать прошел

взад и вперед, неизменно придерживаясь одного и того же плана.

В поведении его были две большие странности, заставившие меня поломать голову, хотя и без всякого успеха, — первая: почему этот человек рассказывал свою историю *только* прекрасному полу, — и вторая: что это была за история и что за красноречие пускал он при этом в ход, которое смягчало сердца женщин и которое, он знал, бесполезно пробовать на мужчинах?

Были еще два обстоятельства, запутавшие эту тайну, — первое: каждой женщине он говорил свои таинственные слова на ухо и с таким видом, точно он сообщал секрет, а не просил подаяния, — и второе: он не знал неудачи — каждая женщина, которую он останавливал, непременно доставала кошелек и без колебаний подавала ему что-нибудь.

Я никак не мог придумать удовлетворительное объяснение этому явлению.

Мне задана была загадка, над разрешением которой можно было скротать остаток вечера, и с расчетом на это я поднялся наверх в свою комнату.

ДЕЛО СОВЕСТИ ПАРИЖ

Почти по пятам за мной поднялся хозяин гостиницы, вошедший ко мне в комнату сказать, чтобы я искал себе другое помещение. — Как так, мой друг? — спросил я. — Он отвечал, что я сегодня вечером провел два часа, запершись в своей спальне с молодой женщиной, а это против правил его дома. — Прекрасно, — сказал я, — тогда зачем же нам ссориться — ведь девушке от этого не стало хуже — и мне не стало хуже — и вы останетесь точно таким, как я вас нашел. — Этого достаточно, сказал он, чтобы погубить репутацию его гостиницы. — Voyezvous, Monsieur 94, — сказал он, показывая на конец кровати, где мы сидели. — Признаться, это было нечто похожее на улику; но так как гордость не позволила мне входить в подробности случившегося, то я посоветовал хозяину спокойно лечь спать, как я сам решил это сделать, а завтра утром я заплачу ему все, что следует.

— Я бы ничего не имел против, Monsieur, — сказал он, — даже если бы у вас побывало двадцать девушек. — Это на два десятка больше, — возразил я, прервав его, — чем я когда-нибудь рассчитывал. — При условии, — продолжал он, — чтобы вы их принимали только утром. — Разве в Париже различное время дня делает и грех различным? — Оно делает различным скандал, — сказал он. — Мне очень нравятся четкие разграничения, и не могу сказать, чтобы я был так уж выведен из себя этим человеком. — Я согласен, — снова взял слово хозяин гостиницы, — что в Париже иностранцу должна быть предоставлена возможность купить себе кружево, шелковые чулки, рукавчики *et tout cela* 95 — и ничего нет худого, если к нему зайдет женщина с картонкой. — Да, это верно, — сказал я, — у нее была картонка, но я в нее даже не заглянул. — Значит, Monsieur, — сказал он, — ничего не купил. — Решительно ничего, — отвечал я. — Так я, — сказал он, — мог бы вам порекомендовать одну, которая обошлась бы с вами *en conscience* 96. — Я должен увидеть ее сегодня же, — сказал я. — Хозяин отвесил мне низкий поклон и спустился вниз.

Вот когда я буду торжествовать над этим *maitre d'hotelem!* — воскликнул я. — А потом что? — Потом покажу, что мне известно, какая у него грязная душа. — А что йотом? Что потом! — Я чуть было не сказал, что делаю это ради других. — У меня не осталось ни одного подходящего ответа — в замысле моем было больше желчи, чем убеждения, и он мне опротивел прежде, чем я приступил к его осуществлению.

⁹⁴ Вы видите, мосье (франц.).

⁹⁵ И все такое (франц.).

⁹⁶ По совести (франц.).

Через несколько минут ко мне вошла гризетка с картонкой кружев. – Все равно ничего не куплю, – сказал я про себя.

Гризетка хотела мне показать все – угодить мне было трудно: девушка делала вид, будто этого не замечает; она открыла свой маленький склад и выложила передо мной одно за другим все свои кружева – разворачивала каждую штуку и снова ее сворачивала с ангельским терпением – я мог купить – мог не купить – она готова была отдать мне все по цене, какую я сам назначу – бедняжке, видно, очень хотелось заработать несколько грошей; она изо всех сил старалась меня задобрить, не столько прибегая к притворству, сколько действуя, я это чувствовал, простотой и лаской.

Если в человеке нет некоторой дозы неподдельного легковерия, тем хуже для него – сердце мое смягчилось, и я отказался от второго решения так же спокойно, как и от первого. – С какой стати буду я карать одного за преступление другого? Если ты платишь дань этому тирану-хозяину, – подумал я, посмотрев ей в лицо, – тем тяжелей достается тебе твой хлеб.

Если бы даже в кошельке у меня было не больше четырех луидоров, все-таки я бы не мог решиться встать и указать ей на дверь, не истратив сначала трех из них на пару рукавчиков.

– Ей придется разделить свой доход с хозяином гостиницы – что за беда – в таком случае, я только заплатил, как многие бедняки *платили* до меня, за поступок, которого не мог совершить, о котором не мог даже помыслить.

ЗАГАДКА ПАРИЖ

Явившись прислуживать за ужином, Ла Флер передал мне сожаление хозяина гостиницы о том, что он оскорбил меня, предложив искать другое помещение.

Человек, знающий цену спокойного ночного сна, не ляжет в постель со злобой в сердце, если он может примириться со своим противником. – Вот почему я велел Ла Флеру передать хозяину гостиницы, что и я, с своей стороны, сожалею, что дал ему повод к неудовольствию, – вы можете даже сказать ему, Ла Флер, – добавил я, – что, если эта молодая женщина снова зайдет ко мне, я ее не приму.

Я приносил эту жертву не ради хозяина, а ради собственного спокойствия, потому что, с таким трудом избежав беды, решил больше не подвергать себя опасностям, а покинуть Париж, по возможности сохранив нетронутыми все добродетели, с которыми я сюда приехал.

– C'est deroger à noblesse, Monsieur⁹⁷, – сказал Ла Флер, кланяясь мне чуть не до земли. – Et encore, – продолжал он, – Monsieur, может быть, переменит свое мнение – и если (par hazard) он вздумает развлечься. – Я не нахожу в этом развлечения, – сказал я, прерывая его.

– Mon Dieu! – произнес Ла Флер – и удалился.

Через час он пришел уложить меня в постель и был услужливее, чем обыкновенно – что-то просилось ему на язык, он хотел что-то сказать мне или о чем-то меня спросить, но не решался. Я не мог понять, что его так заботит, да, по правде говоря, не очень и старался это разгадать, потому что занят был другой, гораздо более интересовавшей меня загадкой, которую представлял человек, просивший милостию у подъезда гостиницы – я бы дал что угодно, чтобы доискаться, в чем здесь дело; и вовсе не из любопытства – любопытство, в общем, такой низменный повод исследования, что за удовлетворение его я не заплатил бы и двух су – секрет же, думал я, так быстро и так верно смягчающий сердце каждой женщины, к которой вы подходите, по меньшей мере равноценен философскому камню: владей я обеими Индиями, я бы охотно отдал одну из них, чтобы получить его в свое распоряжение.

Почти всю ночь мозги мои трудились над разрешением этой загадки, но безрезультатно; когда я проснулся утром, то почувствовал, что дух мой так же встревожен *снами*, как некогда ими встревожен был дух царя Вавилонского; и я без колебания готов утверждать, что все

⁹⁷ Это отказ от прав благородного звания, сударь (франц.).

парижские мудрецы пришли бы в такое же замешательство при попытке их истолковать, как и мудрецы халдейские.

LE DIMANCHE 98 ПАРИЖ

Было воскресенье, и когда Ла Флер явился утром с кофеем и круглой булочкой с маслом, он был так разнаряжен, что я едва его узнал.

Я обещал в Монтрее подарить ему по приезде в Париж новую шляпу с серебряной пуговицей и серебряным позументом и четыре луидора pour s'adoniser⁹⁹, и бедняга Ла Флер, надо отдать ему справедливость, сделал на них чудеса.

Он купил блестящий, чистый, хорошей сохранности ярко-красный кафтан и такого же цвета штаны. – Он даже на корону не изношен, – сказал он, – я готов был послать его к черту за эти слова. – Костюм его имел такой свежий вид, что хотя я и знал, что это не так, а все-таки предпочитал тешиться мыслью, будто я купил его для своего слуги новым, только бы не слушать о его происхождении с Rue de Friperie¹⁰⁰.

Но в Париже тонкость эта не причиняет большого огорчения.

Сверх того, слуга мой купил красивый голубой атласный жилет, довольно замысловато вышитый – он, правда, сильнее потерпел от долгой службы, но был тщательно вычищен – золото было подновлено, и в целом он имел скорее эффектный вид, – а так как его голубой цвет был не яркий, то он отлично подходил к кафтану и штанам. Ла Флер, вдобавок выкроил из этих денег новый кошелек для волос и черный шелковый бант к нему, а также выторговал у fripier¹⁰¹ пару золотых подвязок для штанов у колен. – Он купил муслиновые рукавчики, bien brodees¹⁰² за четыре ливра из собственных денег – да за пять ливров пару белых шелковых чулок – и в довершение всего природа наделила его приятной наружностью, не взяв с него за это ни одного сув.

В этом наряде он вошел ко мне в комнату, причесанный на загляденье, с красивым букетом на груди – словом, все на нем имело праздничный вид, сразу напомнивший мне о том, что было воскресенье, – и, сопоставив одно с другим, я мигом сообразил, что милость, о которой он хотел попросить меня накануне вечером, заключалась в разрешении ему провести день так, как его всякий проводит в Париже. Только что сделал я это предположение, как Ла Флер с бесконечной скромностью, но с полным доверием во взгляде, как если бы возможность отказа была исключена, попросил меня отпустить его на этот день pour faire le galant vis-a-vis de sa maîtresse¹⁰³.

Как раз это самое собирался сделать и я vis-a-vis мадам де Р*** – нарочно для этого я удержал нанятую карету, и тщеславие мое не было бы оскорблено, если бы на запятах ее стоял такой нарядный слуга, как Ла Флер; никогда еще не было мне так трудно обойтись без него.

Но в подобных затруднительных случаях надо не умствовать, а прислушиваться к тому,

⁹⁸ Воскресенье (франц.).

⁹⁹ Чтобы принарядиться (франц.).

¹⁰⁰ Барахолки (франц.).

¹⁰¹ Старьевщика (франц.).

¹⁰² Красиво вышитые (франц.).

¹⁰³ Чтобы поухаживать за своей, возлюбленной (франц.).

что говорит *чувство* – сыновья и дочери услужения, заключая с нами договор, расстаются со своей свободой, а не с требованиями своей природы; у них есть плоть и кровь, и в доме неволи им так же присущи маленькие суэтные желания, как и тем, кто задает им работу, – конечно, за свое самоотречение они назначают цену – и их ожидания так неумеренны, что я часто с удовольствием их бы разочаровал, если бы их положение не давало мне на это слишком больших прав.

Смотри! – Смотри, – я твой слуга – это сразу отнимает у меня все права господина.

– Можешь идти, Ла Флер, – сказал я.

– Как же ты успел, Ла Флер, – сказал я, – за такой короткий срок обзавестись в Париже возлюбленной? – Ла Флер положил руку на грудь и сказал, что это petite demoiselle в доме графа де Б***. – Ла Флер обладал сердцем, созданным для общества, и, сказать правду, так же редко упускал случай, как и его господин, – словом, так или иначе, а как – господь ведает – он завязал знакомство с demoiselle на площадке лестницы в то время, как я занят был своим паспортом; и если этого времени мне было достаточно, чтобы расположить графа в свою пользу, то и Ла Флеру удалось в этот же срок расположить к себе девушку. – Граф со всеми своими домочадцами, очевидно, собирался на этот день в Париж, и Ла Флер условился с девушкой и еще двумя или тремя служами графа погулять по бульварам.

Счастливый народ! Ведь он живет в уверенности, что, по крайней мере, раз в неделю может отрешиться от всех своих" забот; может танцевать, петь и веселиться, скинув бремя горестей, которое так угнетает дух других наций.

ОТРЫВОК ПАРИЖ

Ла Флер оставил мне одну вещь, которая развлекла меня в тот день больше, чем я ожидал и чем могло прийти в голову ему или мне.

Он принес мне небольшой кусок масла на листке смородины; и так как утро было теплое, то он выпросил лист макулатуры и положил его между листком смородины и своей ладонью. – Бумага эта вполне могла служить тарелкой, и потому я велел поставить масло на стол в том виде, как он его принес; приняв решение провести весь день дома, я приказал ему сходить к traiteur'у¹⁰⁴ и заказать для меня обед, объявив, что завтракать я буду один.

Съев масло, я выбросил листок смородины за окно и собирался поступить таким же образом с листом макулатуры – но остановился, пожелав сначала прочитать строчку написанного на ней, от первой строчки меня потянуло к другой и к третьей – я рассудил, что лист этот достоин лучшей участи, закрыл окно, придвинул стул к бумаге и сел читать.

Текст был на старофранцузском языке времен Рабле и, насколько я понимаю, мог быть написан им самим – вдобавок готические буквы от сырости и давности настолько выцвели и стерлись, что мне стоило огромного труда разобрать хоть что-нибудь. – Я бросил бумагу и написал письмо Евгению – потом взял ее опять и снова принялся истощать над ней свое терпение – а потом, чтобы дать ему отдых, написал письмо Элизе. – Бумага по-прежнему занимала меня, и трудность разобрать текст только увеличивала желание это сделать.

Пообедав и прояснив свой ум бутылкой бургундского, я снова засел за чтение – и после двух или трех часов сосредоточенной работы, потребовавшей от меня почти такого же глубокого внимания, какое Груттер или Яков Спон уделяли когда-нибудь непонятной надписи, мне показалось, будто я добрался до смысла прочитанного; а чтобы в этом окончательно убедиться, я решил перевести старофранцузский текст на английский язык и посмотреть, что получится. Я принялся за работу не спеша, как ничем не занятый человек: писал фразу – потом прохаживался по комнате – потом подходил к окну и смотрел, что на свете делается; таким образом, я кончил свою работу только в девять часов вечера – тогда я прочитал все

104 Трактирщику (франц.).

сначала, и получилось следующее:

ОТРЫВОК ПАРИЖ

Когда жена нотариуса слишком горячо заспорила с нотариусом относительно этого пункта – я хотел бы, – сказал нотариус (бросая наземь пергамент), – чтобы здесь был еще один нотариус только для того, чтобы записать и засвидетельствовать все это –

– А что бы вы делали потом, мосье? – сказала она, поспешно вставая, – жена нотариуса была женщина немножко вспыльчивая, и нотариус почел благоразумным избежать бури при помощи мягкого ответа. – Я бы пошел, – отвечал он, – спать. – Можете пойти хоть к черту, – отвечала жена нотариуса.

Случилось, что у них в доме была только одна кровать (две другие комнаты, как это принято в Париже, не были обставлены), и нотариус, не чувствуя никакого желания лечь в одну кровать с женщиной, которая только сейчас ни с того ни с сего послала его к черту, взял шляпу и палку, накинул короткий плащ, так как ночь была очень ветреная, и в дурном расположении духа зашагал по направлению к Pont Neuf.

Кому случалось проходить по Pont Neuf, тот не может не признать, что из всех когда-либо построенных мостов это благороднейший – изящнейший – величественнейший – легчайший – длиннейший и широчайший мост, какой только соединял берег с берегом на поверхности нашего состоящего из суши и воды шара –

Отсюда как будто следует, что автор этого отрывка не был француз.

Тягчайшее обвинение, которое могут возбудить против него богословы и доктора Сорбонны, состоит в том, что если в Париже или возле Парижа найдется хотя бы горсточка ветра, то его клянут там кощунственней, чем на каком-либо другом открытом месте во всем городе, – и клянут совершенно правильно и основательно, Messieurs; – ведь он бросается на вас, не крикнув предварительно garde d'eau¹⁰⁵, и такими непредвиденными порывами, что среди немногих пешеходов, вступающих на него со шляпой на голове, не сыщется и одного на пятьдесят, который не рисковал бы двумя с половиной ливрами, составляющими красную цену шляпы.

Бедный нотариус инстинктивно прижал ее сбоку палкой, как раз когда проходил мимо часового; однако, поднимая палку, он зацепил концом ее за позумент на шляпе часового и перекинул ее через перила моста прямо в Сену –

– Плох тот ветер, – сказал поймавший ее лодочник, – что никому добра не надует.

Часовой-гасконец мигом подкрутил усы и навел свою аркебузу.

В те дни из аркебуз стреляли при помощи фитилей; тут случилось, что у одной старухи на конце моста задуло бумажный фонарь, и она заняла у часовного фитиль, чтобы его засветить, – это дало время остынуть крови гасконца и позволило ему обратить происшествие в свою пользу. – *Плох тот ветер*, – сказал он, срывая с нотариуса кастрюльную шляпу и узаконивая ее присвоение пословицей лодочника.

Бедный нотариус перешел мост и направился по улице Дофина в Сен-Жерменское предместье, изливая по дороге такие жалобы:

– Незадачливый я человек! – говорил нотариус, – всю свою жизнь быть игрушкой ураганов – родиться для того, чтобы везде, где бы я ни появился, против меня и моей профессии поднималась буря ругани, – быть вынужденным громами церкви к браку с женщиной-вихрем – быть выгнанным из собственного дома семейными ветрами и лишиться кастрюльной шляпы от порыва ветров мостовых – находиться с непокрытой головой в ненастную ночь, в полной зависимости от игры случайности – где приклоню я главу мою? – Несчастный человек! Какой же ветер из обозначенных на тридцати двух румбах компаса навеет тебе

105 Берегись воды (франц.).

наконец что-нибудь хорошее, как прочим твоим близким?

Когда нотариус, жалуясь таким образом на свою судьбу, проходил мимо одного темного переулка, чей-то голос подозвал девушку и велел ей бежать за ближайшим нотариусом – и так как наш нотариус был ближайший, то, воспользовавшись своим положением, он отправился по переулку к дверям, и его ввели через старомодную приемную в большую комнату без всякого убранства, кроме длинной боевой пики – нагрудных лат – старого заряженного меча и перевязи, висевших на стене на равных расстояниях друг от друга.

Пожилой человек, который когда-то был дворянином и, если упадок благосостояния не сопровождается порчей крови, оставался им и по сие время, лежал в постели, подперев голову рукой; к постели придинут был столик с горящей свечой, а возле столика стоял стул – нотариус сел на него и, достав из кармана чернильницу и несколько листов бумаги, положил их перед собой, после чего обмакнул перо в чернила, прислонился грудью к столу и все подготовил, чтобы составить последнюю волю и завещание пригласившего его дворянина.

– Увы! Господин нотариус, – сказал дворянин, немного приподнявшись на постели, – я не могу завещать ничего, что покрыло хотя бы издержки по составлению завещания, за исключением истории моей жизни, которую непременно должен оставить в наследство миру, иначе я не в состоянии буду спокойно умереть; доходы от нее я завещаю вам в награду за взятый на себя труд записать ее – это такая необыкновенная история, что ее обязательно должен прочитать весь человеческий род: – она принесет богатство вашему дому – нотариус обмакнул перо в чернильницу. – Всемогущий распорядитель всей моей жизни! – сказал старый дворянин, с горячим убеждением возведя взор и подняв руки к небу, – ты, чья рука привела меня по такому лабиринту извилистых переходов на это безрадостное поприще, приди на помощь слабеющей памяти убитого горем немощного старика – да направляет языком моим дух извечной твоей правды, чтоб этот незнакомец запечатлел на бумаге лишь то, что написано в *Книге*, согласно показаниям которой, – сказал он, стиснув руки, – я буду осужден или оправдан! – Нотариус держал кончик пера между свечой и своими глазами –

– История эта, господин нотариус, – сказал дворянин, – окажет живое действие на чувство каждого – она убьет мягкосердечного и пробудит сострадание в сердце самой жестокости –

– Нотариус горел желанием начать, и в третий раз погрузил перо в чернильницу – тогда старый дворянин, повернувшись к нотариусу, начал диктовать свою историю следующим образом –

– А где же остальное, Ла Флер? – спросил я, так как слуга мой в эту минуту вошел в комнату.

ОТРЫВОК И БУКЕТ ПАРИЖ

Когда Ла Флер подошел ближе к столу и я ему растолковал, чего мне не хватает, он мне сказал, что было еще только два таких листа, но он завернул в них, чтобы цветы крепче держались, букет, который преподнес своей demoiselle на бульварах. – Так, пожалуйста, Ла Флер, – сказал я, – ступай к ней сейчас же в дом графа де Б*** и посмотри, нельзя ли раздобыть эти листы. – Разумеется, можно, – сказал Ла Флер – и выбежал вон.

Через самое короткое время бедняга прибежал обратно, совсем запыхавшись, с выражением более глубокого разочарования на лице, чем то, что могло быть вызвано непоправимой утратой отрывка – Juste ciel!¹⁰⁶ Не прошло и двух минут после того, как бедняга самым нежным образом с ней рас простился, – неверная его возлюбленная отдала его gage d'amour¹⁰⁷ одному из лакеев графа – лакей отдал молоденькой швее, – а швея скрипачу с

¹⁰⁶ Праведное небо! (франц.).

¹⁰⁷ Залог любви (франц.).

моим отрывком, в который он был завернут. – Неудачи наши переплелись между собой – я вздохнул – и вздох Ла Флера эхом раздался в моих ушах –

– Какое вероломство! – воскликнул Ла Флер. – Какое несчастье! – сказал я –

– Я бы не сокрушился, мосье, – проговорил Ла Флер, – если бы она его потеряла. – Я тоже, Ла Флер, – сказал я, – если бы я его нашел.

Нашел я его или нет, это будет видно дальше.

АКТ МИЛОСЕРДИЯ ПАРИЖ

Человек, который гнушается или боится заходить в темные закоулки, может обладать превосходнейшими качествами и быть способным к сотне вещей; но из него никогда не получится хорошего чувствительного путешественника. Я не придаю большого значения многому из того, что вижу среди бела дня на больших открытых улицах. – Природа стыдлива и не любит играть перед зрителями; но в укромном уголке вы иногда увидите исполненную ею отдельную коротенькую сцену, стоящую всех *sentiments* дюжины французских пьес, взятых вместе, – хотя они *безусловно* изящны; – и каждый раз, когда мне предстоит более торжественное выступление, чем обыкновенно, я не задумываясь беру из них тему для моей проповеди, ведь они годятся для проповедника не хуже, чем для героя – а что касается текста, то – «Каппадокия, Понт и Азия, Фригия и Памфилия» – подойдет к ней с таким же успехом, как и всякий другой текст из Библии.

Есть длинный темный проход, ведущий от *Opera comique* в одну узкую улицу; им пользуются немногие посетители театра, терпеливо дожидающиеся *fiacre'a*¹⁰⁸ или желающие спокойно пойти пешком по окончании оперы. Ближайший к театру конец этого прохода освещается тоненькой свечкой, но свет ее пропадает еще раньше, чем вы прошли половину пути, а возле дверей свеча служит скорее для украшения, чем для практического применения: вам она представляется неподвижной звездой самой последней величины; она горит – но, насколько нам известно, миру от нее мало пользы.

Возвращаясь домой по этому проходу, я различил в пяти или шести шагах от дверей двух дам, стоявших рука об руку спиной к стене, должно быть, в ожидании фиакра, – так как они были ближе к дверям, то я решил, что им принадлежит право первенства, и, потихоньку подойдя на расстояние ярда или немного более, стал спокойно ждать – благодаря черному костюму я был почти незаметен в темноте.

Дама, стоявшая ближе ко мне, была высокая худощавая женщина лет тридцати шести; другой, такого же роста и сложения, было лет сорок; в наружности их не заключалось ни одной черты, которая говорила бы, что они женщины замужние или вдовы – с виду это были две добродетельные сестры-весталки, не истощенные ласками, не надломленные нежными объятиями: у меня могло бы возникнуть желание их осчастливить – в этот вечер счастью суждено было прийти к ним с другой стороны.

Тихий голос в изящно построенных и приятных для слуха выражениях обращался к обеим дамам с просьбой подать, ради Христа, монету в двенадцать су. Мне показалось странным, что нищий назначает размер милости и что просимая им сумма в двенадцать раз превосходит то, что обыкновенно подают в темноте. Обе дамы были, по-видимому, удивлены не меньше моего. – Двенадцать су! – сказала одна. – Монету в двенадцать су! – сказала другая, – и ни та, ни другая ничего не ответили нищему.

Бедный человек сказал, что у него язык не поворачивается попросить меньше у дам такого высокого звания, и поклонился им до самой земли.

– Гм! – сказали они, – у нас нет денег.

Нищий хранил молчание минуту или две, а потом возобновил свои просьбы.

108 Извозчичья карета. – Л. Стерн.

— Не затыкайте передо мной ваших благосклонных ушей, прекрасные молодые дамы, — сказал он. — Честное слово, почтенный, — отвечала младшая, — у нас нет мелочи. — Да благословит вас бог, — сказал бедняк, — и да умножит те радости, которые вы можете доставить другим, не прибегая к мелочи! — Я заметил, что старшая сестра опустила руку в карман. — Посмотрю, — сказала она, — не найдется ли у меня одного су. — Одного су! Дайте двенадцать, — сказал проситель. — Природа была к вам так щедра, будьте же и вы щедры к бедняку.

— Я бы, дала от всего сердца, мой друг, — сказала младшая, — если бы у меня было что дать.

— Милосердная красавица! — сказал нищий, обращаясь к старшей. — Что же, как не доброта и человеколюбие, придает ясным вашим очам ласковый блеск, от которого даже в этом темном проходе они сияют ярче утра? И что сейчас побудило маркиза де Сантерра и его брата так много говорить о вас обеих, когда они проходили мимо?

Обе дамы были, по-видимому, очень растроганы; повинувшись какому-то внутреннему побуждению, они обе одновременно опустили руку в карман и вынули каждая по монете в двенадцать су.

Пререкания между ними и бедным просителем больше не было — оно продолжалось только между сестрами, которой из них следует подать монету в двенадцать су — и, чтобы положить конец спору, обе они подали вместе, и нищий удалился.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗАГАДКИ ПАРИЖ

Я поспешил за ним: это был тот самый человек, который просил милостыню у женщин возле подъезда гостиницы и поставил меня в тупик своим успехом. — Я сразу открыл его секрет или, по крайней мере, основу этого секрета — то была лесть.

Восхитительная эссенция! Как освежающе действуешь ты на природу! Как могущественно склоняешь на свою сторону все ее силы и все ее слабости! Как сладко проникновение твое в кровь и как ты облегчаешь движение ее к сердцу по самым трудным и извилистым протокам!

Бедняк, не будучи стеснен недостатком времени, отпустил более крупную дозу этим женщинам; разумеется, он владел искусством давать ее в меньшем количестве при многочисленных неожиданных встречах на улице; но каким образом ухитрялся он приспособлять ее к обстоятельствам, подслащивать, сгущать и разбавлять, — я не стану утруждать свой ум этим вопросом — довольно того, что нищий получил две монеты по двенадцати су — а остальное лучше всего могут рассказать те, кому удалось добыть этим способом гораздо больше.

ПАРИЖ

Мы преуспеваем в свете, не столько оказывая услуги, сколько получая их: вы берете увядшую веточку и втыкаете в землю, а потом поливаете, потому что сами ее посадили.

Господин граф де Б***, потому только, что он offered мне услугу при получении паспорта, пожелал пойти дальше и в несколько дней, проведенных им в Париже, offered мне другую услугу, познакомив с несколькими знатными особами, которым пришлось представить меня другим, и так далее.

Я овладел моим *секретом* как раз вовремя, чтобы извлечь из оказанного мне внимания кое-какую пользу; в противном случае, как это обыкновенно бывает, новые мои знакомые пригласили бы меня раз-другой к обеду или к ужину, а затем, переводя французские взгляды и жесты на простой английский язык, я бы очень скоро заметил, что завладел *couvert'om*¹⁰⁹ какого-нибудь более интересного гостя; и мне, конечно, пришлось бы уступить одно за другим

109 Тарелка, салфетка, нож, вилка и ложка. — Л. Стерн.

все мои места просто потому, что я бы не мог их удержать. – Но при сложившихся обстоятельствах дела мои пошли не так уж плохо.

Я имел честь быть представленным старому маркизу де Б****: в былые дни он отличился кой-какими рыцарскими подвигами на Cour d'amour¹¹⁰ и с тех пор всегда рядился соответственно своему представлению о поединках и турнирах – маркизу де Б**** хотелось, чтобы другие думали, что они разыгрываются не только в его фантазии. «Он был бы очень не прочь прокатиться в Англию» и много расспрашивал об английских дамах. – Оставайтесь во Франции, умоляю вас, господин маркиз, – сказал я. – Les messieurs Anglais и без того едва могут добиться от своих дам милостивого взгляда. – Маркиз пригласил меня ужинать.

Мосье П***, откупщик податей, проявил такую же любознательность по части наших налогов. – Они у нас, как он слышал, очень внушительны. – Если бы мы только знали, как их собирать, – сказал я, низко ему поклонившись.

На других условиях я бы ни за что не получил приглашения на концерты мосье П***.

Меня ложно отрекомендовали мадам де К*** в качестве esprit¹¹¹. – Мадам де К*** сама была esprit; она сгорала от нетерпения увидеть меня и послушать, как я говорю. – Еще не успел я сесть, как заметил, что ее ни капельки не интересует, есть у меня остроумие или нет. Я был принят, чтобы убедиться в том, что оно есть у нее. – Призываю небеса в свидетели, что я ни разу не открыл рта у нее в доме.

Мадам де К*** клялась каждому встречному, что «никогда в жизни она ни с кем не вела более поучительного разговора».

Владычество французской дамы распадается на три эпохи, – Сначала она кокетка – потом действа – потом devote¹¹². В течение всего этого времени она ни на минуту не выпускает власти из рук – она только меняет подданных: когда к тридцати пяти годам в ее владениях редеют толпы рабов любви, она вновь их населяет рабами неверия – а потом рабами церкви.

Мадам де В*** колебалась между первыми двумя эпохами: румянец ее быстро блекнул – ей бы следовало сделаться действа за пять лет до того, как я имел честь сделать ей мой первый визит.

Она посадила меня рядом с собой на диван, чтобы таким образом в плотную обсудить вопрос о религии. – Словом, мадам де В*** призналась мне, что она ни во что не верит.

Я сказал мадам де В***, что пусть таковы ее убеждения, но я считаю, что не в ее интересах срывать форпости, без которых для меня непонятна возможность защиты такой крепости, как та, которой владеет она, – что для красавицы нет более опасной вещи на свете, чем быть действа, – что мой долг человека верующего запрещает мне скрывать это от нее – что не просидел я и пяти минут на диване рядом с ней, как уже начал строить замыслы, – и что же, как не религиозные чувства и убеждение, что они теплятся и в ее груди, могло задушить эти нечистые мысли в самом их зародыше?

– Мы не каменные, – сказал я, беря ее за руку, – и мы нуждаемся во всевозможных средствах обуздания, пока к нам не подкрадется в положенное время возраст и не наденет на нас своей узды, – однако, дорогая леди, – сказал я, целуя ей руку, – вам еще слишком, – слишком рано –

Могу смело утверждать, что по всему Парижу про меня пошла слава, будто я вернулся мадам де В*** в лоно церкви. – Она уверяла мосье Д*** и аббата М***, что я за полчаса больше сказал в пользу религии откровения, чем вся Энциклопедия сказала против нее. – Я был немедленно принят в Coterie¹¹³ мадам де В***, и она отсрочила эпоху деизма еще на два года.

¹¹⁰ Поле любви (франц.).

¹¹¹ Остряка (франц.).

¹¹² Богомолка (франц.).

¹¹³ Круг близких знакомых (франц.).

Помню, в этой Coterie среди речи, в которой я доказывал необходимость *первой причины*, молодой граф де Faineant¹¹⁴ взял меня за руку и отвел в дальний угол комнаты, чтобы сказать мне, что мой *солитер* приколот слишком плотно у шеи. – Он должен быть plus badinant¹¹⁵, – сказал граф, взглянув на свой, – однако одного слова, мосье Йорик, мудрому –

– И от мудрого, господин граф, – отвечая я, делая ему поклон, – будет достаточно.

Граф де Faineant обнял меня с таким жаром, как не обнимал меня еще ни один из смертных.

Три недели сряду я разделял мнения каждого, с кем встречался. – Pardi! ce Mons. Yorick a autant d'esprit que nous autres. – Il raisonne bien, – говорил другой. C'est un bon enfant¹¹⁶, – говорил третий. – И такой ценой я мог есть, пить и веселиться в Париже до скончания дней моих; но то был позорный счет – я стал его стыдиться. – То был заработка раба – мое чувство чести возмутилось против него – чем выше я поднимался, тем больше попадал в *положение нищего* – чем избранное Coterie – тем больше детей Искусственности – я затосковал по детям Природы. И вот однажды вечером, после того как я гнуснейшим образом продавался полудюжине различный людей, мне стало тошно – я лег в постель – и велел Ла Флеру заказать наутро лошадей, чтобы ехать в Италию.

МАРИЯ МУЛЕН

До сих пор никогда и ни в каком виде не испытывал я, что такое горе от изобилия – проезжать через Бурбонне, прелестнейшую часть Франции – в разгар сбора винограда, когда Природа сыплет свое богатство в подол каждому и глаза каждого смотрят вверх, – путешествие, на каждом шагу которого музыка отбивает такт *Труду*, и все дети его с ликованием собирают гроздья, – проезжать через все это, когда твои чувства переливаются через край и когда их воспламеняет каждая стоящая впереди группа – и каждая из них чревата приключениями.

Праведное небо! – этим можно было бы наполнить двадцать томов – тогда как, увы! у меня в настоящем осталось лишь несколько страничек, на которые все это надо втиснуть, – причем половина их должна быть отведена бедной Марии, которую мой друг, мистер Шенди, встретил вблизи Мулена.

Рассказанная им история этой помешавшейся девушки немало взволновала меня при чтении; но когда я прибыл в места, где она жила, все с такой силой снова встало в моей памяти, что я не в силах был противиться порыву, увлекшему меня в сторону от дороги к деревне, где жили ее родители, чтобы расспросить о ней.

Отправляясь к ним, я, признаться, похож был на Рыцаря Печального Образа, пускающегося в свои мрачные приключения, – но не знаю почему, а только я никогда с такой ясностью не сознаю существования в себе души, как в тех случаях, когда сам пускаюсь в такие приключения.

Старушка мать вышла к дверям, лицо ее рассказало мне грустную повесть еще прежде, чем она открыла рот. – Она потеряла мужа; он умер, по ее словам, месяц тому назад от горя, вызванного помешательством Марии. – Сначала она боялась, добавила старушка, что это отнимет у ее бедной девочки последние остатки рассудка – но это, напротив, немного привело ее в себя – все-таки она еще не может успокоиться – ее бедная дочь, сказала она с плачем, бродит где-нибудь возле дороги –

¹¹⁴ Бездельник (франц.).

¹¹⁵ Свободнее (франц.).

¹¹⁶ Ей-ей, этот господин Йорик так же остроумен, как и мы. – Он здраво рассуждает. – Славный малый (франц.).

— Отчего же мой пульс бьется так слабо, когда я это пишу? и что заставило Ла Флера, сердце которого казалось приспособленным только для радости, дважды провести тыльной стороной руки по глазам, когда женщина стояла и рассказывала? Я дал знак кучеру, чтобы он повернул назад, на большую дорогу.

Когда мы были уже в полуле от Мулена, я увидел в просвет на боковой дороге, углублявшейся в заросли, бедную Марию под тополем — она сидела, опершись локтем о колено и положив на ладонь склоненную набок голову — под деревом струился ручеек.

Я велел кучеру ехать в Мулен, — а Ла Флеру заказать мне ужин — объявив ему, что хочу пройтись пешком.

Мария была одета в белое, совсем так, как ее описал мой друг, только волосы ее, раньше убранные под шелковую сетку, теперь падали свободно. — Как и раньше, через плечо у нее, поверх кофты, была перекинута бледно-зеленая лента, спадавшая к талии; на конце ее висела свирель. — Козлик ее оказался таким же неверным, как и ее возлюбленный; вместо него она достала собачку, которая была привязана на веревочке к ее поясу. — «Ты меня не покинешь, Сильвио», — сказала она. Я посмотрел Марии в глаза и убедился, что она думает больше об отце, чем о возлюбленном или о козлике, потому что, когда она произносила эти слова, слезы заструились у нее по щекам.

Я сел рядом с ней, и Мария позволила мне утират их моим платком, когда они падали, — потом я смочил его собственными слезами — потом слезами Марии — потом своими — потом опять утер им ее слезы — и, когда я это делал, я чувствовал в себе неописуемое волнение, которое, я уверен, невозможно объяснить никакими сочетаниями материи и движения.

Я нисколько не сомневаюсь, что у меня есть душа, и все книги, которыми материалисты наводнили мир, никогда не убедят меня в противном.

МАРИЯ

Когда Мария немного пришла в себя, я спросил, помнит ли она худощавого бледного человека, который сидел между нею и ее козликом года два тому назад? Она сказала, что была в то время очень расстроена, но запомнила это по двум причинам — во-первых, хотя ей было нехорошо, она видела, что проезжий, ее жалеет, а во-вторых, потому, что козлик украл у него носовой платок и за кражу она его прибила — она выстирала платок в ручье, сказала она, и с тех пор всегда носит его в кармане, чтобы вернуть моему знакомому, если когда-нибудь снова его увидит, а он, прибавила она, наполовину ей это обещал. Сказав это, она вынула платок из кармана, чтобы показать мне; она его бережно завернула в два виноградных листа и перевязала виноградными усиками, — развернув его, я увидел на одном из углов метку "Ш".

С тех пор она, по ее словам, совершила путешествие в самый Рим и обошла однажды вокруг собора Святого Петра — потом вернулась домой — она одна отыскала дорогу через Апеннины — прошла всю Ломбардию без денег — а Савойю, с ее каменистыми дорогами, без башмаков — как она это вынесла и как преодолела, она не могла объяснить — но для стриженой овечки, — сказала Мария, — бог унимает ветер.

— И точно стриженой! До живого мяса, — сказал я. — Будь ты на моей родине, где есть у меня хижина, я взял бы тебя к себе и приютил бы тебя: ты ела бы мой хлеб и пила бы из моей чашки — я был бы ласков с твоим Сильвио — во время твоих припадков слабости и твоих скитаний я следил бы за тобой и приводил бы тебя домой — на закате солнца я читал бы молитвы, а по окончании их ты играла бы на свирели свою вечернюю песню, и фимиам моей жертвы был бы принят не хуже, если бы он возносился к небу вместе с фимиамом разбитого сердца.

Естество мое размягчилось, когда я произносил эти слова; и Мария, заметив, когда я вынул платок, что он уже слишком мокрый и не годится для употребления, пожелала непременно выстирать его в ручье. — А где же вы его высушите, Мария? — спросил я. — Я высушу его у себя на груди, — отвечала она, — мне будет от этого лучше.

— Разве сердце ваше и до сих пор такое же горячее, Мария? — сказал я.

Я коснулся струны, с которой связаны были все ее горести, — она несколько секунд пытливо смотрела мне в лицо помутившимся взором; потом, ни слова не говоря, взяла свою свирель и сыграла на ней гимн Пресвятой деве. — Струна, которой я коснулся, перестала дрожать — через одну-две минуты Мария снова пришла в себя — выронила свирель — и встала.

— Куда же вы идете, Мария? — спросил я. — В Мулен, — сказала она. — Пойдемте, — сказал я, — вместе. — Мария взяла меня под руку, отпустила подлиннее веревочку, чтобы собака могла бежать за нами, — в таком порядке вошли мы в Мулен.

МАРИЯ МУЛЕН

Хотя я терпеть не могу приветствий и поклонов на рыночной площади, все-таки, когда мы вышли на середину площади в Мулене, я остановился, чтобы в последний раз взглянуть на Марию и сказать ей последнее прости.

Мария была хоть и невысокого роста, однако отличалась необыкновенным изяществом сложения — горе наложило на черты ее налет чего-то почти неземного — все-таки она сохранила женственность — и столько в ней было всего, к чему тянется сердце и чего ищет в женщине взор, что если бы в мозгу ее могли изгладиться черты ее возлюбленного, а в моем — черты Элизы, она бы не только *ела мой хлеб и пила из моей чаши*, нет — Мария поклонилась бы на груди моей и была бы для меня как дочь.

Прощай, бедная, несчастливая девушка! Пусть раны твои впитают елей и вино, проливаемые на них теперь состраданием чужеземца, который идет своей дорогой, — лишь тот, кто дважды тебя поразил, может уврачевать их навек.

БУРБОННЕ

Ничто не сулило мне такого буйного и веселого пира ощущений, как поездка по этой части Франции во время сбора винограда; но так как я проник туда через ворота горя, то страдания сделали меня совершенно невосприимчивым: в каждой праздничной картине видел я на заднем плане Марию, задумчиво сидящую под тополем; так я доехал почти до Лиона и только тогда приобрел способность набрасывать тень на ее образ —

— Милая *Чувствительность!* неисчерпаемый источник всего драгоценного в наших радостях и всего возвышающего в наших горестях! Ты приковываешь своего мученика к соломенному ложу — и ты же возносишь его на *Небеса* — вечный родник наших чувств! — Я теперь иду по следам твоим — ты и есть то *"божество"*, что движется во мне; — не потому, что в иные мрачные и томительные минуты «моя душа страшится и трепещет разрушения» — пустые звонкие слова! — а потому, что я чувствую благородные радости и благородные тревоги за пределами моей личности — все это исходит от тебя, великий-великий *Сенсориум* мира! Который возбуждается даже при падении волоса с головы нашей в отдаленнейшей пустыне твоего творения. — Движимый тобою, Евгений задерживает занавески, когда я лежу в изнеможении, — выслушивает от меня перечисление симптомов болезни и бранит погоду за расстройство собственных нервов. Порой ты оделяешь частицей естества своего самого грубого крестьянина, бредущего по самым неприютным горам, — он находит растерзанного ягненка из чужого стада. — Сейчас я увидел, как он наклонился, прижавшись головой к своему посоху, и жалостливо смотрит на него! — Ах, почему я не подоспел минутой раньше! — он истекает кровью — и чувствительное сердце этого крестьянина истекает кровью вместе с ягненком —

Мир тебе, благородный пастух! — Я вижу, как ты с сокрушением отходишь прочь — но печаль твоя будет заглушена радостью — ибо счастлива твоя хижина — и счастлива та, кто ее с тобой разделит — и счастливы ягнята, резвящиеся вокруг тебя!

УЖИН

Так как в самом начале подъема на гору Тарар у коренника на передней ноге расшаталась подкова, то кучер слез, открутил ее и положил в карман; между тем подъем этот тянялся пять или шесть миль, и на коренника была вся наша надежда, почему я настойчиво потребовал, чтобы подкова была снова как-нибудь прикреплена нашими собственными средствами; но кучер выбросил гвозди, а так как без них от молотка, лежавшего в ящике под козлами, было мало пользы, то я покорился, и мы поехали дальше.

Не поднялись мы в гору и полумили, как нездачливый конь потерял на каменистом участке дороги другую подкову, и притом с другой передней ноги; тогда я уже не шутя вышел из кареты и, увидя в четверти мили налево от дороги дом, уговорил кучера, хотя и не без некоторого труда, повернуть к нему. Когда мы подъехали ближе, вид дома и всего, что находилось возле него, скоро примирил меня с постигшим нас несчастьем. – То был домик фермера, окруженный виноградником и хлебным полем площадью акров в сорок, – а к самому дому примыкали с одной стороны *potagerie*¹¹⁷ акра в полтора, где было в изобилии все, что составляет достаток в хозяйстве французского крестьянина, – а с другой стороны рощица, дававшая дрова, чтобы все это стряпать. Было часов восемь вечера, когда я подошел к ферме, – кучера я оставил управляемым с подковами, как он знает, – а сам направился прямо в дом.

Семья состояла из старого, убеленного сединой фермера и его жены, с пятью или шестью сыновьями или зятьями и их женами, а также веселым их потомством.

Все они сидели вместе за чечевичной похлебкой; большой пшеничный каравай лежал посреди стола, а кувшины вина на каждом конце его сулили веселье в перерывах между едой – то был пир любви.

Старик поднялся навстречу мне и с почтительной сердечностью пригласил меня сесть за стол; сердце мое было с ними уже с минуты, когда я вошел в комнату; вот почему я, не чинясь, подсел к ним, как член семьи; чтобы как можно скорее войти в эту роль, я немедленно попросил нож у старика, взял каравай и отрезал себе внушительный ломоть; когда я это сделал, я увидел в глазах каждого выражение не просто радушного привета, но привета, соединенного с благодарностью за то, что у меня не возникло на этот счет никаких сомнений.

Потому ли, – а если нет, то скажи мне, Природа, по какой другой причине – так сладок был для меня этот кусок – и какому волшебству обязан я тем, что глоток, выпитый мной из их кувшина, тоже был так восхитителен, что и по сей час я чувствую во рту их вкус?

Если ужин фермеров пришелся мне по душе – то еще гораздо более по душе пришла молитва по его окончании.

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА

Когда ужин был кончен, старик постучал по столу рукояткой ножа – то был знак приготовиться к танцам; как только он был дан, все женщины и девушки разом бросились в заднюю комнату заплести волосы – а молодые люди – к дверям, чтобы умыться и переменить свои сабо; через три минуты все уже собрались на лужайке перед домом, готовые начать. – Старый фермер и его жена вышли последними и, поместив меня между собой, сели на деревянную скамью возле дверей.

Лет пятьдесят назад старик был большой искусствник в игре на рылях – да еще и теперь, несмотря на преклонные годы, мог недурно исполнить на этом инструменте музыку для танцев. Жена его время от времени тихонько подпевала – потом умолкла – потом снова вторила старику, в то время как их дети и внуки танцевали на лужайке.

Лишь на середине второго танца, по маленьkim паузам в движении, во время которых все они как будто возводили взоры к небу, мне почудилось, будто я замечаю в них некоторое воспарение духа, непохожее на то, что бывает причиной или действием простой веселости. – Словом, мне показалось, что я вижу осенившую танец *религию* – но так как я еще никогда не

117 Правильнее «*potager*» – огород и фруктовый сад (франц.).

наблюдал ее в таком сочетании, то принял бы это за обман вечно сбивающего меня с толку воображения, если бы старик по окончании танца не сказал мне, что так у них принято и что он всю свою жизнь ставил себе правилом приглашать свою семью после ужина к танцам и веселью; ибо, по его словам, он твердо верил, что радостная и довольная душа есть лучший вид благодарности, который может принести небу неграмотный крестьянин –

– А также ученый прелат, – сказал я.

ЩЕКОТЛИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Когда вы достигли вершины горы Тараар, вы тотчас начинаете спускаться к Лиону – прощай тогда быстрое передвижение! Ехать надо с осторожностью; чувствам нашим тоже полезно, если мы с ними не торопимся; таким образом, я договорился с voiturin'ом¹¹⁸, чтобы он не очень усердно погонял пару своих мулов и благополучно довез меня в собственной моей карете в Турин через Савойю.

Бедный, терпеливый, смиренный народ! Не бойся: мир не позарится на твою бедность, сокровищницу простых твоих добродетелей, и долины твои не подвергнутся его нашествию. – Природа! при всех твоих неустройствах, ты все же милостила к тобою созданной скудости, – по сравнению с великими твоими произведениями, мало оставила ты на долю косы и серпа – но эту малость взяла ты под свою защиту и покровительство, и радуют взор жилища, которым обеспечена такая надежная охрана.

Пусть измученный ездой путешественник изливает свои жалобы на крутые повороты и опасности твоих дорог – на твои скалы – на твои пропасти – на трудности подъемов – на ужасы спусков – на неприступные горы – и водопады, низвергающие с вершин огромные камни, которые преграждают ему путь. – Крестьяне целый день трудились, убирая такую глыбу между Сен-Мишеле и Моданой, и когда мой возница подъехал к этому месту, они провозились еще добрых два часа, прежде чем проезд был кое-как расчищен: нам оставалось только терпеливо ждать. – Ночь была сырья и бурная, так что вследствие непредвиденной задержки, а также по слухам непогоды возница мой вынужден был, не доезжая пяти миль до своей станции, завернуть в маленький опрятный постоянный двор у самой дороги.

Я немедленно расположился в отведенной мне спальне – велел затопить камин – заказал ужин; я благодарил небо, что не случилось ничего худшего – как вдруг подкатила карета, в которой сидела какая-то дама со своей служанкой.

Так как другой спальни в доме не было, то хозяйка, не долго думая, привела приезжих в мою, сказав в дверях, что там никого нет, кроме одного английского джентльмена, – что там стоят две хорошие кровати, а в каморке рядом есть еще третья – тон, которым она упомянула об этой третьей кровати, мало говорил в ее пользу – во всяком случае, сказала она, на троих приезжих есть три кровати – и она решается выразить уверенность, что английский джентльмен постарается все уладить. – Я не дал даме ни минуты на размышление – и немедленно объявил о своей готовности сделать все, что в моих силах.

Так как это не означало полной уступки моей спальни, то я еще настолько чувствовал себя в ней хозяином, чтобы иметь право принимать гостей, – поэтому я предложил даме садиться – заставил ее занять самое теплое место – велел подкинуть дров – попросил хозяйку расширить программу ужина и попотчевать нас самым лучшим вином.

Погреввшись минут пять у огня, дама начала оборачиваться и поглядывать на кровати; и чем чаще она кидала взоры в ту сторону, тем с большей озабоченностью их отводила. – Я почувствовал сострадание к ней – и к самому себе, потому что очень скоро ее взгляды и вся обстановка привели меня в такое же замешательство, какое, вероятно, испытывала она сама.

Достаточной причиной нашего смущения могло служить уже то, что кровати, в которые мы должны были лечь, стояли в одной комнате – но их расположение (они поставлены были

¹¹⁸ Возница (франц.).

параллельно и так близко одна от другой, что между ними едва умещался маленький плетеный стул) делало обстановку комнаты для нас еще более стеснительной, — кроме того, кровати находились у самого огня, и выступ камина с одной стороны, а с другой широкая балка, пересекавшая комнату, создавали для них род углубления, совсем не подходящего для людей с деликатными чувствами — к этому можно еще присоединить, если сказанного недостаточно, что обе кровати были очень узенькие, и это лишило даму всякой возможности лечь вместе со своей горничной; если бы это было осуществимо, то расположиться на соседней кровати было бы для меня, правда, вещью нежелательной, но не настолько все же ужасной, чтобы она способна была оскорбить мое воображение.

Что же касается соседней каморки, то она не представляла для нас ничего утешительного: сырой, холодный закуток с полуразбитым ставнем и окном, в котором не было ни стекол, ни промасленной бумаги, чтобы защищать от бушевавшей на дворе бури. Я не сделал попытки сдержать свой кашель, когда дама украдкой заглянула туда; таким образом, перед нами неизбежно возникала альтернатива: — либо дама пожертвует здоровьем ради своей щепетильности и поместится в каморке, предоставив кровать рядом со мной горничной — либо девушка займет каморку и т. д. и т. д.

Дама была пьемонтка лет тридцати с пышущими здоровьем щеками. — Ее горничная была двадцатилетняя лионка, на редкость проворная и живая французская девушка. — Затруднения возникали со всех сторон — и загородившая наш путь каменная глыба, которая поставила нас в это критическое положение, сколь ни огромной она казалась нам, когда крестьяне возились над ней, была не больше булыжника по сравнению с тем, что лежало теперь на нашем пути. — К этому надо добавить, что угнетавшая нас тяжесть ничуть не облегчалась нашей чрезмерной деликатностью, мешавшей нам высказать друг другу свое мнение по поводу сложившейся обстановки.

Мы сели ужинать, и если бы у нас не было более хмельного вина, чем то, какое можно было достать на маленьком постоялом дворе в Савойе, языки наши не развязались бы, пока им не предоставила бы свободы сама необходимость — но у дамы в карете было бургундское, и она послала свою *fille de chambre* принести две бутылки, так что, поужинав и оставшись одни, мы почувствовали в себе достаточно присутствия духа, по крайней мере, для того, чтобы откровенно потолковать о нашем положении. Мы перевертывали вопрос на все лады, обсуждали и рассматривали его в самом разнообразном свете в течение двухчасовых переговоров; по завершении их были окончательно установлены все статьи соглашения между нами, которому мы придали форму и вид мирного договора, — проявив, я убежден, столько же добросовестности и доверия с обеих сторон, сколько их когда-нибудь было проявлено в договорах, удостоившихся чести быть переданными потомству.

Статьи были следующие:

Во-первых. Поскольку право на спальню принадлежит Monsieur и он считает, что ближайшая к огню кровать является более теплой, то он настаивает на согласии со стороны дамы занять ее.

Принято со стороны Madame; с условием, чтобы (так как полог над этой кроватью сделан из тонкой, прозрачной бумажной материи, а кроме того, он, по-видимому, слишком короток и не может быть плотно задернут) *fille de chambre* или заколода бы отверстие большими булавками, или зашила бы его так, чтобы занавески эти можно было рассматривать, как достаточное заграждение от Monsieur.

Во-вторых. Со стороны Madame предъявлено требование, чтобы Monsieur лежал всю ночь напролет в *robe de chambre*¹¹⁹.

Отвергнуто: поскольку у Monsieur нет *robe de chambre*, так как все содержимое его чемодана исчерпывается шестью рубашками и парой черных шелковых штанов.

Упоминание о паре шелковых штанов привело к полному изменению этой статьи — ибо

119 Халат (франц.).

штаны признаны были эквивалентом robe de chambre; таким образом, было договорено и условлено, что я пролежу всю ночь в черных шелковых штанах.

В-третьих. Со стороны дамы поставлено было условие, и она на нем настаивала, чтобы после того как Monsieur ляжет в постель и будут потушены свеча и огонь в камине, Monsieur не произнес ни одного слова всю ночь.

Принято: при условии, что произнесение Monsieur молитв нельзя считать нарушением договора.

В этом договоре упущен был один только пункт, а именно: каким способом дама и я должны раздеться и лечь в постель – возможен был только один способ, и я предоставляю читателям угадать его, торжественно заявляя при этом, что если названный способ окажется не самым деликатным на свете, то виной будет исключительно воображение читателя – на которое это не первая моя жалоба.

И вот, когда мы легли в постели, – от новизны ли положения или от чего другого, не знаю, – но только я не мог сокнуть глаз. Я пробовал лежать и на одном боку и на другом, перевертывался и так и этак до часу пополуночи – пока не истощил всех сил и терпения. – Ах, боже мой! – вырвалось у меня –

– Вы нарушили договор, мосье, – сказала дама, которая спала не больше моего. – Я попросил тысячу извинений – но настаивал, что слова мои были всего лишь молитвенным восклицанием – она же утверждала, что это полное нарушение договора, – а я утверждал, что это предусмотрено в оговорке к третьей статье.

Дама ни за что не желала уступать, хотя своим упорством она ослабила разделявшую нас перегородку; ибо в пылу спора я расслышал, как две или три булавки упали с полога на пол.

– Даю вам честное слово, мадам, – сказал я, протягивая руку с кровати в знак клятвенного утверждения –

– (Я собирался прибавить, что я ни за какие блага на свете не погрешил бы против самых ничтожных требований приличия) –

– Но fille de chambre, услышав, что между нами идет пререкание, и боясь, как бы за ним не последовало враждебных действий, тихонько выскоцила из своей каморки и под прикрытием полной темноты так близко прокраалась к нашим кроватям, что попала в разделявший их узкий проход, углубилась в него и оказалась как раз между своей госпожой и мною –

Так что, когда я протянул руку, я схватил fille de chambre за – –

ПРИМЕЧАНИЯ

Роман «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» («The Life and Opinions of Tristram Shandy Gentleman») публиковали анонимно на протяжении восьми лет (1760-1767). Первые два тома вышли в 1760 г.; третий и четвертый тома – в начале 1761 г.; пятый и шестой – в конце 1761 г.; седьмой и восьмой тома в 1765 г., и девятый том – в 1767 г.

«Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» («A Sentimental Journey through France and Italy») было опубликовано (также без имени автора, но со ссылкой на «Йорика», что позволяло читателям установить связь этой книги с «Тристрамом Шенди») в 1768 г. в двух томах. Это составляло около половины всего задуманного Стерном сочинения, которое предполагалось издать в четырех томах. Но смерть помешала осуществлению этого замысла; вторая, «итальянская» половина «Сентиментального путешествия» осталась ненаписанной.

Первые переводы из «Тристрама Шенди» появились в России в начале 90-х годов XVIII в. В 1791 г. «Московский журнал» (ч. II, кн. 1-2) опубликовал отрывки из «Сентиментального путешествия» и «Тристрама Шенди». В 1792 г. там же появился подписанный инициалом «К.» перевод «Истории Ле-Февра» из «Тристрама Шенди», принадлежавший Н. М. Карамзину (ч. V, февраль).

«Жизнь и мнения Тристрама Шенди» в шести томах вышли в 1804-1807 гг. (СПб., Имп. тип.). Другой русский перевод романа вышел только в конце XIX в.: «Тристрам Шенди», пер.

И. М – ва, СПб. 1892.

«Сентиментальное путешествие» переводилось гораздо чаще: «Стерново путешествие по Франции и Италии под именем Йорика...», пер. А. Колмакова, тип. Академии наук, СПб. 1783, 3 ч. «Чувственное путешествие Стерна во Францию», М. 1803, 2 ч. «Путешествие Йорика по Франции», Унив. тип., М. 1806, 4 ч. «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии», пер. Н. П. Лыжина. – В кн.: Классические иностранные писатели в русском переводе, кн. 1, СПб. 1865. «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии», пер. Д. В. Аверкиева. – «Вестник иностранной литературы», 1891, э 2-3 (переиздано Сувориным в 1892 г.; новое издание, под ред. и с примечаниями П. К. Губера, Госиздат, М.-Пг. 1922 («Всемирная литература»). «Сентиментальное путешествие. Мемуары. Избранные письма», пер. Н. Вольпин. Ред., вступ. статья и комментарии С. Р. Бабуха, Гослитиздат, М. 1935.

В настоящем издании перепечатываются переводы, выполненные А. А. Франковским:

«Сентиментальное путешествие. Воспоминания. Письма. Дневник», пер. и примечания А. А. Франковского, Гослитиздат, М. 1940, и «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», пер. и примечания А. А. Франковского, Гослитиздат, М.-Л. 1949.

Адриан Антонович Франковский (1888-1942), безвременно погибший в Ленинграде во время блокады, был одним из замечательных мастеров советского художественного перевода и глубоким знатоком английской культуры. Его переводы «Тристрама Шенди» и «Сентиментального путешествия» представляют собой настоящий подвиг научного исследования и художественного воссоздания оригинала.

A. Елистратова

«СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ»

Дезоближан. – Прилагательное *desobligeant* значит нелюбезный, причиняющий неприятности. «Дезоближан», как название экипажа, в соответствии с французской *la desobligeant* употреблялось и в России в XVIII в,

Мосье Дессен – лицо не вымышленное, он содержал в Кале гостиницу, называвшуюся «*Hotel d'Angleterre*», и пользовался большой популярностью среди проезжавших через Кале поклонников Стерна; в списках русского путешественника" о нем упоминает Карамзин, посетивший Кале в 1790 г, по дороге из Парижа в Лондон. После смерти Стерна Дессен повесил в комнате, где тот останавливался, его портрет, а на двери написал большими буквами: «комната Стерна»; комната эта, естественно, привлекала множество путешественников; она еще сохранялась во времена Теккерея, который в ней ночевал. О популярности Стерна в конце XVII в. свидетельствует следующий ответ Дессена на заданный ему в 1782 г. английским драматургом Фредериком Рейнольдсом вопрос, помнит ли он мосье Стерна: «Соотечественник ваш мосье Стерн был великий, да, великий человек, он и меня увековечил вместе с собой. Много денег заработал он своим сентиментальным путешествием – но я, я заработал на этом путешествии больше, чем он на всех своих путешествиях вместе, ха, ха!» Словом, одно лишь упоминание мосье Дессена в «Сентиментальном путешествии» сделало его одним из самых богатых людей в Кале.

Перипатетик – философ школы Аристотеля.

Оксфордом, Абердином и Глазго – подразумевается: университетами, находящимися в этих городах.

Визави – двухместная коляска с сиденьями, расположенными одно против другого.

Мон-Сени – гора в Альпах на границе между Францией и Италией.

Со дна Тибра – то есть как произведение античной скульптуры.

Ездра – еврейский ученый V в. до н. э., принимавший участие в составлении Библии и написавший для нее несколько книг.

Пребендарий – священник, получающий пребенду, то есть долю доходов в соборной церкви, за то, что он в установленное время совершает в ней службы и проповедует. Стерн был пребендарием Йоркского собора.

Имперцы – австрийцы, в чьих руках находилась теперешняя Бельгия после Уtrechtского мира (1713). Брюссель был занят французами во время войны за австрийское наследство (1740-1748).

Смельфунгус – Смоллет, чье путешествие по Франции и Италии вышло в 1766 г. В своем журнале «Critical Review» Смоллет неизменно проявлял враждебное отношение к Стерну, начиная с выхода первых томов «Тристрама Шенди» в 1760 г.

«Говорил о бедствиях на суше и на морях...» – цитата из «Отелло» Шекспира, акт 1, сц. 3.

Мундунгус – доктор Сэмюэль Шарп (1700-1778), лондонский хирург, выпустил в 1766 г. «Письма из Италии», которые Стерн имеет здесь в виду.

...спросил мистера Ю., не он ли поэт К). – Стерн имеет в виду обод у английского посла в Париже лорда Гертфорда в начале мая 1764 г., на котором присутствовал он сам и известный английский философ и историк Давид Юм; один французский маркиз принял его за писателя Джона Юма, автора нашумевшей трагедии «Даглас» (1754).

Ла Флер – созданный драматургом Реньяром (1655-1709) тип ловкого, проницательного, но честного слуги; тип этот фигурирует во многих французских комедиях XVIII в. Слуга Стерна, получивший от него это прозвище, по-видимому, лицо не вымышленное; он сопровождал Стерна в течение всего путешествия по Франции и Италии, но остался во Франции; рассказ о путешествии Стерна с его слов появился в журнале «European Magazine» за 1790 г. (Перевод этого рассказа помещен был в издававшемся Карамзиным «Вестнике Европы» за 1802 г.).

Отрывок. – Материал для этого отрывка и восклицание «О, Эрот!..» Стерн заимствовал из рассуждения греческого писателя II в. н. э. Лукиана «Как следует писать историю», где говорится об «еврипидомании» жителей города Абдеры, овладевшей ими после представления (ныне утраченной) трагедии Еврипида «Андромеда».

Чемерица – по старинному поверью, считалась средством от сумасшествия.

Оплакивание Санчо своего осла... – См. «Дон Кихот», ч. I, глава XXIII.

Несутся на кольцо... – Намек на воинское упражнение, заключающееся в том, чтобы на полном скаку лошади снять копьем или пикой подвешенное кольцо.

Hotel de Modene – гостиница Модена действительно существовала тогда в Париже, в Сен-Жерменском предместье, улица Жакоб, э 14.

Евгений – этим именем Стерн называет своего друга Джона Холла-Стивенсона, о котором подробнее см. в прим. к стр. 47.

Салический закон – запрещал женщинам во Франции наследовать престол.

Святая Цецилия – считается католиками покровительницей музыки.

Партер – в тогдашних театрах в партере стояли; только у самой сцены, возле оркестра, было несколько рядов кресел, называвшихся во французских и английских театрах оркестром (название это сохранилось и до сих пор).

Касталия – в греческой мифологии, нимфа родника в горе Парнасе, источника поэтического вдохновения.

Граф де В. – Клод де Тиар, граф де Бисси (1721-1810), близкий ко двору французский офицер, занимавшийся на досуге английской литературой (он перевел «Короля-патриота» Болингброка). Стерн говорит о нем также в своих письмах.

Les egarements... – «Заблуждения сердца и ума». Покупка девушкой этого романа Кребильона-младшего (1736), наполненного очень откровенными картинами разврата высшего общества Франции, придает немало иронии изображаемой Стерном сцене. Уже при первом посещении Парижа в 1762 г. Стерн познакомился с Кребильоном.

Лейтенант полиции – глава французской полиции того времени.

Война, которую мы тогда вели с Францией. – Стерн имеет в виду Семилетнюю войну, закончившуюся Парижским миром в 1763 г., и, следовательно, свою первую поездку во Францию в январе 1762 г.

Шатле – парижская тюрьма, упраздненная и срытая в конце XVIII в.

Герцог де Шуазель (1719-1785) – министр иностранных дел и военный министр; он был до 1770 г. фактическим главой французского правительства.

Орден св. Людовика давался во Франции того времени за военные заслуги.

Высматривать наготу земли... – то есть шпионить. Это обвинение бросает библейский Иосиф своим братьям, явившимся в Египет купить хлеба.

Один из глав нашей церкви... – Разговор, подобный приведенному ниже, вероятно, происходил в действительности между Стерном и одним из английских епископов после выхода в свет (в 1760 г.) его проповедей под заглавием «Проповеди мистера Йорика». Об этом можно судить хотя бы по рецензии, появившейся в журнале «Monthly Review», где они рассматривались как величайшее оскорбление приличий после возникновения христианства.

Александр-медник – библейский образ.

Царя Вавилонского. – Намек на библейский рассказ о снах Навуходоносора, которых не могли истолковать халдейские мудрецы.

Кошелек для волос. – Кончик париков того времени заключался на спине в матерчатый мешочек (кошелек) с бантом.

Грутэр Ян (1560-1627) – гуманист и археолог, голландец но происхождению, прославившийся главным образом своим трудом «Сокровищница латинских надписей» (1601). Яков Спон (1647-1685) – французский археолог, совершивший большое путешествие в Италию, Грецию и Малую Азию и опубликовавший ценный материал по истории древнего мира.

Старый маркиз де В**** – герцог де Бирон, Луи-Антуан (1700-1785), маршал.

Мосье П***, откупщик податей – Александр Жозеф де Ла Пошньер (1692-1762), богатый откупщик и меценат.

Мосье Д**** и аббат М*** – Дидро (1713-1784) и аббат Морелле (1727-1819); аббат Морелле – экономист, деятельный сотрудник руководимой Дидро Энциклопедии.

Солитер – кружевной галстук того времени, прикалывавшийся к воротнику.

Которую мой друг, мистер Шенди, встретил вблизи Мулена. – См. стр. 526-527.

Рыцарь Печального Образа – Дон Кихот.

Для стриженої овочки бог унимает ветер – перевод французской пословицы: «A brebis tondue dieu mesure le vent».

«Божество, что движется во мне» и «Моя душа страшится...» – цитаты из пятого действия трагедии Аддисона «Катон».

Щекотливое положение. – Стерн пересказывает в этой главе в несколько измененном виде приключение своего приятеля Джона Кроферда (с которым он встретился в Париже по дороге в Италию); в комнату к последнему приведена была хозяйкой переполненной гостиницы приехавшая поздно вечером фламандская дама с горничной; Кроферд и эта дама разыграли кровати в карты, и ей досталась маленькая кровать в каморке. Происшествие это записал камердинер Кроферда – Джон Макдональд, тот самый, что присутствовал при последних минутах Стерна в его лондонской квартире.

Сен-Мишель и Модана – местечки в Савойе.

A. Франковский